ВРЕМЯ И МЕСТО

Литературно-художественный
и общественно-политический журнал

Выпуск 3 (35)

Нью-Йорк, 2015

ВРЕМЯ и МЕСТО
Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

VREMYA I MESTO
International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary

Copyright © 2015 Vremya i Mesto

Produced by *Shikhman Publishing*

Artwork on front cover by Isaak Vainshelboim

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopy, or any other – except for brief quotations in printed reviews, without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce selections from the journal, please call 718-815-5000 or send an email to olga@flockusa.com

www.vmzhurnal.com

All rights reserved

ISBN: 978-1515374817

Printed in the United States of America

Игорь Шихман, ***издатель и***
главный редактор (США)

Редакционная коллегия:
Давид Гай – *зам. главного редактора* *(США)*
Ирина Басова *(Франция)*
Марк Вейцман *(Израиль)*
Руслан Галазов *(Испания)*
Нина Генн *(США)*
Геннадий Кацов (США)
Надежда Кожевникова (США)
Давид Маркиш *(Израиль)*
Владимир Некляев *(Беларусь)*
Андрей Остальский *(Англия)*
Александр Половец *(США)*
Георгий Пряхин *(Россия)*
Семен Резник *(США)*
Михаил Румер-Зараев *(Германия)*
Марк Черняховский *(США)*

СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ..... 6

ПРОЗА
АНДРЕЙ ОБОЛЕНСКИЙ
Сказка о мертвой
музыке.....9

ГАЛИНА КОМАРОВСКАЯ
Расскажу только тебе..... 42

ВАЛЕРИЙ БОЧКОВ
Харон.....82

СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ
Между Явью и Навью.....114

ОЛЬГА ДУНАЕВСКАЯ
Баб-Саня.....126

ПОЭЗИЯ
АЛЕКСАНДР КУШНЕР…….....38

МАРК ВЕЙЦМАН…….....75

МИХАИЛ МАЗЕЛЬ.....106

АЛЕКСАНДР ГАБРИЭЛЬ.....182

КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ
ГЕННАДИЙ КАЦОВ
Траектории Гари Лайта.....143

ИМЕНА В ЛИТЕРАТУРЕ
ПАВЕЛ МАТВЕЕВ
Палисандрово время.....151

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
РОМАН СОЛОДОВ
Правда о Циолковском.....188

РЕМИНИСЦЕНЦИИ
ЮРИЙ ОКУНЕВ
Ленинградская симфония.....201

ИГОРЬ ШИХМАН
Как я не стал соавтором Ираклия Андронникова....228

АРХИВ
ИСААК ВАЙНШЕЛЬБОЙМ
Два достоянья Семена Фруга.....251..

САРКАСТИЧЕСКИ-ИРОНИЧЕСКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ
ЮРИЙ СОЛОДКИН
Четверостишия.....261

АВТОР ОБЛОЖКИ
Пером и кистью.....266

К ЧИТАТЕЛЯМ

При подготовке этого номера журнала я с большим интересом прочитал статью Исаака Вайншельбойма и открыл для себя замечательного поэта Семена Фруга. Мне, коренному одесситу, любящему родной город, было очень приятно, что имя еще одного блестящего литератора было связано с Одессой. Утверждаю, и берусь поспорить с любым оппонентом, который попытается возразить: в нашем городе царила особая атмосфера, способствовавшая раскрытию и совершенствованию таланта, заложенного генами в любого человека.

Меня до глубины души взволновало напоминание в статье о трагической судьбе второго еврейского кладбища. Эта трагедия коснулась и моей семьи: там был похоронен старший брат моей бабушки. Его могила исчезла, как и многие другие.

Я хорошо помню время, когда проходило бесчеловечное, варварское разорение старого еврейского кладбища. Совершалось это кощунство под каким-то нелепым, бессмысленным предлогом, а по городу ходили самые невероятные слухи. Говорили, что на месте кладбища задумали строить жилой микрорайон или спортивный комплекс...

Слава Богу, ничего не построили. Быть может, тем самым избежали новой трагедии: на человеческих останках здания долго не стоят. Кладбище осталось пустырем. Я, живший на Большом Фонтане, иногда ходил через него на старую Люстдорфскую дорогу, почему-то переименованную в советские времена в Черноморскую.

То здесь, то там виднелись обломки могильных плит, заросшие бурьяном. На некоторых с трудом можно было углядеть надписи на идиш. Мне и в голову не приходило, что я иду и через своеобразный Пантеон талантливых евреев, живших и творивших в нашем

городе. Увы, советская власть приложила много усилий, чтобы удалить их имена из памяти потомков.

Долг нашего поколения – сохранить крупицы культурного наследия, спасенные ценой невероятных усилий отдельных энтузиастов. Не просто сохранить, а сделать их достоянием наших детей и внуков. Даже тех, кто живет вдали от нашего любимого города в Америке, Израиле, Германии, Австралии и других странах, и знающих об Одессе и ее культурных традициях лишь понаслышке.

У меня в Одессе есть большой друг, человек высокой порядочности и замечательной души – главный раввин Одессы и Юга Украины раби Абрам Вульф. Он приложил невероятные усилия, изобретательность и дипломатичность для возрождения еврейской общины города. Сегодня она, не очень многочисленная, тем не менее, играет заметную роль в культурной, экономической, социальной и образовательной жизни города.

По инициативе раби в Одессе был учрежден еврейский университет. Он и его жена Хая основали, а затем на пожертвования построили детский дом для еврейских детей. Благодаря заботам Абрама Вульфа дети живут в условиях, которым могут позавидовать питомцы элитных учебных заведений.

Однажды он привел меня в комнату, в которой находилось двенадцать мальчиков в возрасте от семи до десяти лет, и сказал:

– Трое из них – мои сыновья. Если ты сможешь отличить их от воспитанников, значит, я даром ем свой хлеб.

Через несколько минут я сдался…

Думаю, что этой краткой характеристики достаточно, чтобы понять, что главный раввин Одессы – достойнейший человек. Кстати, пользующийся небывалым авторитетом у городских властей, у простых одесситов,

как евреев, так и представителей других религиозных конфессий. Не сомневаюсь: он с радостью примет участие в работе по увековечению памяти Семена Фруга и других людей – знаменитых и беззвестных – некогда нашедших последний приют на старом еврейском кладбище.

Могу назвать имена других людей, живущих по-прежнему в Одессе, любящих ее и много делающих для сохранения памяти. Это – бизнесмены Влад Хандрос и Леонид Шиман, историк-краевед, в прошлом моряк Александр Гун...

Быть может, стоит установить у главной синагоги или в каком-то другом месте мемориальную стелу и на ней запечатлеть имена людей, покоившихся на разоренном кладбище. Безусловно, в рамках этой акции следует воссоздать памятник жертвам одесского погрома 1905 года. Пусть не такой грандиозный и величественный, как прежде. Достаточно скромного обелиска.

Дорогие друзья! Откликнитесь на мой призыв. Расскажите о нашей инициативе друзьям, знакомым и близким. Присылайте в редакцию средства и свои предложения. Не важно, кто сколько пришлет. Важно сделать это от чистого сердца.

Имена всех жертвователей будут опубликованы в журнале. По желанию жертвователя мы сохраним его анонимность.

Игорь ШИХМАН,
издатель и главный редактор

P.S. Напомню наш адрес:

Shikhman Publishing
1864 Clove Rd., Staten Island, NY 10304
Справки по телефону 718-815-5000

АНДРЕЙ ОБОЛЕНСКИЙ

СКАЗКА О МЕРТВОЙ МУЗЫКЕ

Памяти русского писателя
Владимира Орлова

Эта загадочная история началась очень давно. Во всяком случае, мне кажется, что давно, – развитие событий припоминается с трудом, по большей части отдельными эпизодами, слепо блуждающими в прожитых усохших годах. Только лишь иногда, – мне трудно понять, с чем это связано, – она накрывает сознание, подчиняет все мысли, становится явной, отчѐтливой, красочной. Тогда я думаю, что всѐ началось вот только что, – третьего дня, скажем, и можно набрать номер, записанный на истрѐпанном листке, который с тех самых пор, – представьте, – лежит в моѐм бумажнике. Но нет. Не ответят. Потому что кольцо накрепко замкнуто, да ещѐ таинственным образом связано с иными подобными. Оно не размыкается волшебной палочкой иллюзиониста как в известном фокусе, не освобождает остальные, держит при себе. В природе нет средств, способных разъять прожитое.

Но вполне может статься, что повествую я о совсем другом человеке, – слишком часто сомневаюсь, что всѐ рассказанное случилось именно со мной. Тогда о ком? Не имею ни малейшего представления. Знать бы хоть достоверно, что я в своѐм уме, а не впал много лет назад в состояние хронического бреда или в психоз и то, что происходит сейчас – реально. Но есть ли толк запутывать читателя, если сам давным-давно запутался, и каким образом от пут освободиться не знаю и знать не желаю. Потому что теперь, как и раньше, я всем доволен и не хочу ничего менять, хотя убеждѐн, что проживаю вторую,

совсем иную жизнь. Поэтому расскажу точно так, как видится сейчас, в меру сил без предположений и оценок, хотя бы касательно причин и следствий.

Наверное, при моѐм рождении звѐзды сгруппировались особым образом, или над моей колыбелью склонился какой-нибудь гном, приносящий счастье, или что ещѐ произошло, уж не знаю. Но мне всегда всѐ удавалось. Я очень рано стал состоятельным человеком, не имея, заметьте, никаких связей, нарабатывая их на ходу, на бегу, точнее. Мои родители, музыканты, искренне считали себя неудачниками; отец от случая к случаю играл в спектаклях театра Сатиры и в ―Ленкоме", мать имела постоянную работу – пела в ресторане. Не абы в каком, – в ―Национале", – месте дорогом, куда простых тружеников не пускали, – легендарный кабак заполняли иноземцы из сладких стран и гэбэшники. Но мать всѐ равно с презрением, быть может, несколько наигранным, называла себя ресторанной певичкой. Поэтому предки мечтали реализовать себя хотя бы в моей персоне и другой профессии, кроме как музыканта, для меня не мыслили. Я, особо не напрягаясь, окончил Гнесинскую музыкальную школу-десятилетку. Потом по личному письму директора, вопреки всем правилам и без экзаменов, был зачислен сразу на второй курс фортепианного отделения Московской Консерватории. Преподаватели делали очень хорошие авансы относительно моего будущего. Но я, возможно вследствие своей врождѐнной испорченности, с удовольствием разрушил их надежды, как и надежды родителей. Хотелось другого, а тут и времена подоспели другие; страна со скрипом развернулась, закачалась от волн, вызванных собственным разворотом, и легла на другой курс под всеобщие аплодисменты. Меня эти катаклизмы, в отличие от свихнувшейся массы интеллигентов, почти не занимали; я был молод, самонадеян, слегка циничен и нахален. Широко шагал по

жизни, без стеснения определив себе девизом латинскую фразу ”Quo non ascendam”.* Знал, чего хотел, поэтому нагло втѐрся в одну из только что народившихся богемных тусовок, где быстро занял подобающее (или неподобающее) место, чему очень радовался, наивно полагая, что приобщился к элите.

Меня распирало от идей, и каждая приносила деньги. В те сумбурные времена казалось, что воздух пропитан их запахом, словно озоном после майской грозы. Я открыл одну из первых галерей на Рублѐвке, – знаменитой ”Мельницы” в Барвихе и в помине не было, а кажущийся нынче крошечным ресторан ”Царская Охота”, где Ельцин угощал рябчиками французского президента, даже мы, золотая молодѐжь, считали центром вселенной.

Разные люди посещали мою галерею; богатые выскочки вроде меня самого, художники с именем, ставшие нищими в одно мгновение, нувориши, желающие приобрести что-нибудь дорогое для того, чтобы просто было. Захаживали жирные дѐрганые бандиты присмотреть художественно исполненную голую тѐтку в золочѐной раме для новой квартиры с видом на Кремль, народные депутаты, члены правительства, мутные оборванцы с огромными деньгами в мелких купюрах, распиравших облезлую сумку из кожзаменителя, – да мало ли кто ещѐ. В угоду публике я устраивал выставки самых разнообразных направлений и художественной ценности: идиотские инсталляции с совершенно невнятными претензиями, соцреализм выставлял, – этюды Решетникова, Бялыницкого-Бирули или Бакшеева** стоили тогда гроши и продавались пачками. Зарабатывал на крикливых, никому неизвестных чокнутых гениях, – их мазня часто уходила после моих выставок за большие деньги к залѐтным сомнительным иностранцам, иногда оседая в частных коллекциях, а то и в солидных музеях современного искусства. Грязный поток людей и их творческих экскрементов хлынул за бугор, а доверчивые европейцы и простые как звезда шерифа

американосы, пытались увидеть в них общенародное освобождение от комплексов извечного русского юродства и загадочности, будто бы означающих богоизбранность. Слияние русских с мировой цивилизацией, это же надо додуматься! Интересно, что многие очень даже неглупые люди, ловились на эту удочку и вдохновенно проповедовали счастливое единение западного материального и русского духовного.

Много позже оказалось, что я со своим скепсисом не ошибся. Но это к слову; меня тогдашнее безобразие занимало лишь постольку, поскольку приносило немалые доходы, а в душе благоволил я к хорошим рисовальщикам, к тем, кто умел. Умение, а не голый эпатаж и не надутую осознанием собственного величия глупость, ставил я выше всего; но – увы, спросом умение не пользовалось, – я бесился и клял искорѐженные времена, полностью, впрочем, отдавая себе отчѐт в том, что искорежили их в том числе и мне подобные.

А музыка…да, она была, пожалуй, на первом месте, не живопись. Свои музыкальные вечера я устраивал в маленьком и очень уютном, с хорошей акустикой зале клуба ”Надмосковье”. Благо его владелец, осетин, был кое-чем обязан мне и своим гешефтом с этих концертов не интересовался, от него не убывало. Играли у меня известные пианисты, пели молодые консерваторские таланты, одновременно пробивая себе имя и зарабатывая немного денег. Большую часть забирал я, как вроде бы антрепренѐр, нисколько не стыдясь этого, потому что все оставались довольны.

Я был умѐн и культивировал в себе широту взглядов, стараясь игнорировать условности. Поэтому относился к жизни поверхностно, легкомысленно отщипывая от дарованного всем нам пирога самые вкусные кусочки и непременно от корочки. Я никогда не морочил себе голову размышлениями о том, что вероятно там, в глубине, найдется очень вкусная изюмина, быть может, стоящая

всего пирога. Меня абсолютно устраивало то, что отщипывалось, тем более, я знал очень мало людей, сумевших за всю свою долгую жизнь правильно пирог порезать.

Каждодневность моя, таким образом, была совершенно безумной: лица мелькали как в грандиозной массовке какого-нибудь из эпических кинополотен позабытого ныне Сергея Бондарчука. Я чувствовал себя словно рыба в воде, насыщенной более чем достаточным количеством кислорода, научился воспринимать неизбежные в жизни досадные мелочи совершенно философски, то есть попросту плевать на них. Но с возрастом небольшая, но надоедливая, скрытая где-то в самых глубинах организма мизантропическая часть моей натуры, стала иногда вылезать и ругаться. От этого мельтешение лиц и событий вокруг внезапно представлялось пустым. Жизнь никчѐмной. Сам я – никому не нужным. Трагически несчастным. Обречѐнным тащить на согбенных плечах свои ложные, но весьма тяжѐлые ценности. Каждый раз я предполагал, что меня скрутила депрессия, и шѐл к приятелю-психиатру с изумительной фамилией Кутузов-Данцевич. Фамилии я тайно завидовал, – думал, – будь у меня такая, как замечательно обогатила бы она моѐ мироощущение и ещѐ более украсила внешний облик. Профессор всегда был рад мне; говорил, что мои визиты освежают его мозг, измученный постоянным общением с психопатами, шизоидами, аутистами и прочими ущербными, надолго возвращают периодически пропадающую веру в род людской. Тем не менее, он всегда одинаково хихикал над моими слѐзными жалобами и давал один и тот же совет. После чего мы на пару ритуально напивались в хлам, а я, имея пусть и формальную рекомендацию специалиста, без угрызений совести, следовал ей.

Случалось это всегда дважды в год, когда было тепло, – в середине мая и в начале сентября. Я бросал начатое, недоделанное и задуманное на своего помощника, получал очередное благословение Кутузова-Данцевича и в строгой тайне убегал ото всех в чудесный финский городок Лиексу. Городок этот, окруженный маленькими лесными озерами и немногочисленными аккуратными хуторами, вносил покой в мою утомлѐнную душу. Я наслаждался одиночеством и тишиной, читая стихи, слушая музыку, шатаясь по лесу и плавая на лодке. Даже ловил без удочки, намотав на щепку леску со снастью, мелкую рыбѐшку, которую жалел и отпускал. А то и просто валялся на траве, размышляя о странной стране, в которой посчастливилось мне родиться и в которой элитой считаются только те, у кого есть всѐ. В том числе и штатные шуты вроде меня.

Но главная героиня моих приключений, приведших к весьма удивительному итогу, явилась мне не прекрасной лесной нимфой, не озерной чухонской русалкой, а молодой нищенкой на Сенатской площади в Хельсинки. Трудно представить, но это так. Я прогуливался по площади, с досадой глядя на худосочный бело-зелѐный кафедральный собор, в ожидании арендованной в ―Херце" машины, – финны что-то напутали с моей бронью. Упомянутая героиня подошла ко мне и, потупив взор, на хорошем английском попросила двадцать евро. Странно она выглядела, да, очень странно. Маленькая, сгорбленная, одетая в невероятный, чуть выше колен коричневый балахон с обтрѐпанным подолом и рюшами, который платьем я смог бы назвать, только поступаясь принципами. Маленькие худые ноги, как у ребѐнка покрытые свежими царапинами, обутые в тяжѐлые байкерские ботинки неопределѐнного цвета, вызывали абстрактную жалость ко всему человечеству. Мелкие прыщики на лице, наложенная явно не сегодня утром косметика, волосы, собранные назад в смешной хвост, удерживаемый шикарной, блистающей и очень дешевой китайской

заколкой в виде крупной бабочки, – всѐ это наводило на мысль о плохом вкусе и полном небрежении к себе одновременно. Довершая свой облик, в руке она держала скрипичный футляр.

Словом, выглядела девушка весьма эклектично, если выражаться корректно, используя умное слово. Я подумал, что она с равной вероятностью может быть хиппующей девицей, бродяжкой по призванию, наконец – неглупой дочкой солидных буржуа, колеблющей основы и развлекающей себя поисками парадигм. Последнее казалось наименее вероятным, поскольку эти парадигмы навряд ли водятся в благочинной и спокойной европейской провинции среди еѐ жителей, которые, так сказать, от сохи. Не уверен, правда, что слово ”соха” можно перевести хотя бы на один из европейских языков.

– Какая забавная, – подумал я. – Не часто в Финляндии попадаются нищенки. Может шведка, наркоманка, – их иногда заносит в эту самую скучную европейскую столицу.

– Откуда вы возникли, мисс? – согласитесь, что мой вопрос был закономерен, а двадцать евро стоил уж точно. – И почему это я должен давать вам деньги?

– Вы не должны, – она подняла на меня большие жгучие глаза и я который уже в жизни раз изумился контрасту наносного, внешнего и никому недоступного внутреннего. – Вы не должны, но мне очень надо. Мне необходимо остаться тут ещѐ на два дня, чтобы прийти на могилу Сибелиуса, надо ещѐ два дня, два дня, надо два дня, – как заклинание, качая головой, словно китайский болванчик, повторяла она. – А потом возвращаться в Москву, пора возвращаться, а деньги кончились, деньги кончились, совсем нет денег…

– Так ты русская! – воскликнул я на родном с детства языке, воскликнул нарочито громко, чтобы вывести еѐ из ступора. – Что ж ты молчишь?

Она вздрогнула от моего крика, а глаза приобрели осмысленное выражение.

– Я не молчу, – резонно заметила она.

– Да? Ну спорить, пожалуй, не стану. А русский-то язык что, позабыла?

– Я приняла вас за англичанина или шведа…

– Ох, спасибо, дорогая, на добром слове. Но видок у тебя тот ещѐ, ты в курсе? Голодная, небось?

Она вдруг цепко глянула на меня и, помедлив, кивнула.

– Пойдем в ”Зетор”, – решительно сказал я. Барышня уже не казалась мне Сонечкой Мармеладовой, о чѐм я было подумал, – слишком уж взгляд обжигал, да и не бывает проституток со скрипками. Да, к чему бы тут скрипка? А, наплевать, доброе дело никогда не вредно. Накормлю хоть болезную, глядишь, – когда-нибудь зачтѐтся. Хотя на это надеяться…– Расскажешь мне всѐ, а я помогу тебе. Пойдем, нам прямо, по улице этого…а чѐрт, всѐ равно не выговорить, – я махнул рукой. – Короче, туда.

Она вдруг дѐрнула меня за рукав.

– А... вы не потребуете, чтобы я спала с вами? – барышня мучительно покраснела, выдавив из себя эти слова. – Это никак невозможно…

– Ну и дура ты, прости господи, – я чуть не задохнулся. – Что, мне спать не с кем? – Кормить тебя буду, а то вон…худая, чуть не шатает. Унесѐт балтийским ветром на родину, и двадцать евро не понадобятся. Тут один Сибелиус, и тот давно умер, а у нас и Кобзон есть, и Игорь Крутой, и Алла Борисовна, – много разных имеется, на любой вкус. Бог даст – познакомлю, а сейчас пойдем, пойдем…

В ресторане, называемом ”Зетор”, а по-русски просто ”Трактор” из-за своеобразного интерьера, народ сидел тихий. Жевал этак основательно, скучно и старательно, – точно так финны в маленьких городках поют на ярмарках караоке. Я заказал ”*moikku*”, – маленьких и вкусных рыбок

местного улова с картофельным пюре и мочѐной брусникой.

– Ну, рассказывай, как дошла до жизни такой, – подобные типажи, несмотря на богатый опыт, мне ещѐ не попадались, а я любил всѐ новое и загадочное. Разглядев еѐ внимательнее, сразу понял, что первое впечатление обмануло меня, – барышня совсем не была убогой и безобразной. Тонкие губы, маленький нос и мелкие черты лица создавали определенное изящество даже, но не более того. Я, сильно избалованный женщинами, при ближайшем рассмотрении не счѐл еѐ страшной или даже просто некрасивой. Миловидной но серенькой, – да. Без этакой таинственной новогодней блѐстки, которая делает бабу, тѐтку, девушку, барышню непостижимым существом миров, в которых приняты иные, чем у нас ценности и логика. Встреть я еѐ в Москве, – не обратил бы внимания и прошѐл мимо. Явилась бы устраиваться на работу – взял бы третьей секретаршей без права на интим. Впрочем, имелось единственное ~~н~~о". Глаза…

Они были большие, чѐрные, обжигающие (я, кажется, употребляю это слово не в первый раз, но другое как-то не приходит на ум). Чѐрт знает, какой огонь прятался в них, и был ли это огонь, может не огонь, а даже плазма, или раскаленная субстанция неизвестной науке новой звезды, – я сам изумился, какие могучие и масштабные сравнения вдруг приходили, когда она, поднимая голову от тарелки, бросала на меня довольно безразличные взгляды. Со свойственной мне проницательностью я уже тогда подумал, что у девушки не всѐ в порядке с головой, но мысль как-то зачахла, едва зародившись.

– Кстати как тебя зовут? – спохватился я. – Меня – Борис. Фамилия – Димитров. Мне есть памятник в Москве. На Полянке. – Я выложил свою дежурную шутку, предназначенную для провинциалов, приехавших покорять столицу с накануне написанной картиной подмышкой. Она купилась не раздумывая, а я принял факт к сведению.

– Вы что? Правда? А за что? Ну в смысле памятник за что?

– Как за что? За заслуги, конечно. А как зовут тебя?

– Аманда. Аманда Грандель.

– Ого!

– У меня папа настоящий француз. Из Прованса. Он одно время возил молодые вина в Москву для этого…как его…Косыгина и его гостей. Этот Косыгин сам пригласил его, когда был во Франции в гостях у премьер-министра. А мама переводчицей работала в свите.

Она снова посмотрела на меня, и снова я вздрогнул от еѐ взгляда. Мой покровительственный тон явно отдавал фальшью, но всѐ же я нагло спросил:

– Сколько ж тебе лет?

– Двадцать девять.

Я присвистнул.

– А кажешься девчонкой.

– Я окончила МГУ, но всегда бредила музыкой; поступила в Музыкальное училище при Питерской Консерватории, тоже окончила с отличием, а теперь…теперь путешествую.

– Врѐшь, – быстро сказал я. – У тебя руки уборщицы, а не скрипачки.

– А я и есть уборщица, – ответила она, не поднимая голову от тарелки.– Зарабатываю в России, на Рублѐвке в основном, – дома убираю. Но чаще нянькой в богатых семьях, я хорошо умею с детишками ладить и никогда не ворую. На меня даже очередь установилась, ну богатым с детьми некогда, а нянька с рекомендациями, да ещѐ москвичка, – редкость. Работаю, коплю деньги, а как накоплю – уезжаю.

– Зачем? – кажется, мой вопрос прозвучал глупо. В самом деле, а зачем уезжаю я?

– Я ищу мѐртвую музыку, – последовал ответ.

– Что, что?

Она посмотрела на меня как на ненормального, ей-богу.

– Неужели не понимаете? Вы-то уж должны…

– Не-а, – этак безразлично ответил я, пропустив последнюю фразу мимо ушей. Еѐ слова окончательно подтвердили мои смутные догадки, что мне посчастливилось встретить сумасшедшую. Я утешил себя тем, что вроде не буйная, но тут же вспомнились еѐ странные слова о могиле Сибелиуса. – Так ты объясни мне. Ладно музыка, я сам еѐ в некоторой степени ищу всю жизнь. Но почему мѐртвая?

– А вы правда хотите об этом узнать?

– Как тебе сказать… наверное да…. Интересно, что ты с ней делаешь, с мѐртвой, когда находишь?

Она поджала губы, кажется, собираясь обидеться.

– Ладно, ладно, не сердись. Мы странно встретились и…. Ну, в общем, я хочу помочь тебе, хотя должен быть сейчас в другом месте и в другом состоянии духа. Страстно возжелал, так сказать, положить на алтарь человеколюбия и помощи страждущим два дня своей жизни. Ты не сможешь мне в этом отказать.

– Ладно, – будто делая мне величайшее одолжение, проговорила она. – Расскажу. Только вы не смейтесь и…не считайте меня идиоткой. Обещаете?

– Ага, – неопределенно ответил я.

– Музыка, – с важностью начала Аманда, будто читая лекцию, – самое эфемерное из искусств, это понятно.

– Почему же?

– Ну… Литература воздействует строго на сознание, герои, прототипы, сюжет и всѐ такое; недаром она актуальна только внутри одного социума, внутри другого интересны только интерпретации с привязкой к реалиям этого другого. Живопись иллюстративна, она хоть и воздействует на человека, минуя осознаваемое, но слабо, поскольку базируется на видимых образах, которые неизменяемы, застыли. А вот что привлекает в музыке, – как-то непонятно. Почему она вызывает столько эмоций, часто совершенно неадекватных и полярных, даже у

одного индивида, – понять сложно. Я долго думала над этим. – Она замолчала.

– И что выдумала? – не удержался я. – Что музыка, особенно попсовая, – коллективное либидо человечества? Я где-то читал об этом.

Она пропустила колкость мимо ушей.

– Музыка растворена в том мире, в котором мы существуем. Наверное, у определѐнных людей есть пока неизвестные рецепторы, позволяющие еѐ улавливать, но я не сильна в физиологии, я математик по первому образованию. В общем, мне удалось доказать, используя теорию случайных событий и разные виды цепей Маркова, что некоторые типы созвучий существуют вне нашего сознания и подсознания, они объективны, они – живая субстанция. Только людей, способных с ними правильно общаться, по законам гармонии, входить в резонанс с ними – очень мало.

– А что ты в данном случае понимаешь под гармонией? Один гармонирует с похабной частушкой, другой – с арией Ленского, третий – с дремучим авангардом, далѐким от гармонии, кстати.

– Не в этом дело, – Аманда досадливо поморщилась. – То, о чѐм вы говорите, лежит сверху, это вопрос вкуса и пристрастий. Да я и вообще не об этом. Я о том, что строго определенные сочетания звуков объективно существуют как вид живой материи… наверное.

– И что? – довольно невежливо спросил я. – Пусть себе существуют, композитор-то не вечен, он человек, он смертен, а умерев, созвучия в шеренгу не построит и маршировать не заставит. Новой музыки не напишет.

– Во-первых, это не факт. А во-вторых, я приняла за аксиому, что нерождѐнное и неживое – разные категории. Далее, касательно музыки я допустила, что это самое нерождѐнное объективно существует, только мы не знаем, где его искать. Потом стала изучать, как музыка соотносится с непознанным, с мистикой то есть, – об этом

много говорил и писал Скрябин. И выстроилась теория. Бездоказательная совсем, беспомощная, но которая, вы удивитесь, подтвердилась практикой.

– Да ну?

– Вы не поверите, а я могу слышать нерождѐнную музыку, правда закономерностей обнаружить не удалось, тут дело случая. И ещѐ я называю еѐ мертвой, потому что мертвы еѐ создатели, да и привычнее так. Но при этом подразумеваю, что она – нерождѐнная. И не родится. Без меня и немногих таких, как я, если кроме меня ещѐ кто-то есть, конечно.

– Боже мой, деточка, не пора ли нам закругляться? А то как-то всѐ затянулось, усложнилось, математикой, извини, запахло, а я еѐ не переношу, даже в таблице умножения до сих пор путаюсь. И скушали мы с тобой уже всѐ, мороженого не хочешь, тут есть черничное, натуральное? – мне стало как-то неловко из-за того, что она наговорила. А может, просто жаль девчонку со съехавшей набок крышей. Но Аманда уже не слышала меня.

– Всѐ началось с того, – вдохновенно повествовала она, – что я поехала в Ленинград, каждый день наведывалась на Тихвинское кладбище, на могилу Петра Ильича. В разное время приходила и слушала, слушала. Даже ночью на кладбище пряталась, вот жуть-то брала…. Долго ничего не происходило, а потом вдруг, – это впервые случилось очень поздним тѐплым вечером, – услышала. Музыку Чайковского, которую он написал бы, если б не умер. Ну что, что? Зачем вы так смотрите на меня? Не верите? Или думаете всѐ-таки, что я идиотка?

– Да как тебе сказать… – протянул я, придумывая наименее болезненный способ избавиться от этой ненормальной.

– Не верите, – зло проговорила она. – А обещали не считать идиоткой. Соврали. Мне все врут, что поверили и смотрят с сожалением, ну прямо как вы сейчас, я уже

почти никому и не рассказываю. А вы мне вроде не очень тупым показались.

Это было уже слишком. Я не удержался и фыркнул:

– Слушай, а давай я тебя на московский рейс посажу, и лети к своим эмбриональным созвучиям. Деньги потом вышлешь. Адрес оставлю.

Она сникла вдруг. Достала из сумки обгрызенную ручку и лист бумаги, написала на нѐм что-то.

– Это мой телефон, вы позвоните по нему, если когда-нибудь поймѐте, что я права. Возьмите.

Я взял листок, свернул и положил в бумажник. Посмотрел на неѐ. Лучший выход, – я чувствовал, – незаметно смыться, но что-то удерживало меня, сам не знаю что. Неужели сомнения?

Аманда заметила это, засуетилась, стала что-то горячо говорить, в чѐм-то убеждать. Я смотрел на неѐ, но мне было уже без разницы.

Она запнулась на полуслове. Помолчала.

– Да, – печально проговорила, – так не пойдет. Всѐ кончится тем же, чем кончалось много раз. Однажды меня даже заперли к буйнопомешанным, – это случилось в Риме, – правда быстро разобрались и отпустили. Но у меня есть доказательства. Вот, послушайте. Она резко встала.

Я испугался, хотел удержать мадмуазель, схватил за локоть, но она раскрыла футляр и выхватила из него старенькую скрипку. Чуть отойдя от стола, вроде и небрежно кинула еѐ к плечу, шевельнула подбородком. Смычок упал на струны, поплыл по ним, и мне показалось, что музыка блестящей длинной иглой рванулась к сводам старинного подвальчика. Я смотрел на Аманду снизу вверх, видел еѐ вздернутый подбородок, глаза, уже не тѐмные и обжигающие, а просветлѐнные и вдохновенные. Она распрямилась будто, стала выше ростом, и мне на секунду привиделось, что маленькая еѐ фигура воспаряет над каменным полом и рвѐтся вверх, к сводчатому потолку и дальше, туда, где небо летом голубое и пронзительное,

как еѐ музыка, а осенью – скучное и невыразительное, как она сама. Но всѐ это было уже неважно, скрипка стала живой, она будто видоизменялась вместе с Амандой, извлекающей из неѐ звуки, вилась бесконечной нитью, образуя трепетное невесомое кружево, которое хотелось потрогать. Она была исполнена лѐгкости и, в тоже время, глубоко запрятанной страсти, эта музыка и, уж точно, только родилась; я, большой любитель и знаток мелодичного Петра Ильича, сразу ясно понял, что изысканная скрипичная композиция принадлежит ему, но был готов поклясться, что никогда не еѐ слышал.

Странным было и то, что никто из посетителей не удивился, не повернул даже головы, все продолжали жевать и негромко переговариваться, словно ничего не происходило. Последний пассаж был самым вдохновенным, мелодия завибрировала безмерно высоко, замерла на мгновение, переливаясь почти видимыми красками; они бродили по обыденности дня, бросая тѐмные отсветы на лица, стены, столы, тусклую одежду людей, ресторанную утварь. Потом упала вниз, оборвалась, краски растерянно заметались, будто не зная, куда им деваться, потускнели и исчезли, и Аманда опустила скрипку.

– Ну что, теперь верите? – глядя мимо, спросила она. – Теперь не считаете меня лгуньей?

– Не знаю, – выдохнул я. – Ну ты и загадка…

– Никакая я не загадка, – спокойно ответила она. – Я просто знаю чуть больше других и побывала в гостях у многих умерших композиторов, кое-какую ненаписанную музыку запомнила. К Дебюсси я приходила семнадцать раз, и он подарил мне сонату за моѐ упорство. А Лист отделался маленькой пьеской, и то для фортепиано, я долго мучилась, пока переложила для скрипки так, чтобы он не обиделся. А Стравинский и Шѐнберг – вообще отмолчались, сколько я не билась с ними, эти

авангардисты всѐ под себя гребут…– она сердито хмыкнула.

– И…со многими ты знакома?

– Да не знакома я ни с кем! Вы что думаете, я с ними беседы веду? Этого ещѐ не хватало, я б умерла со страху, если бы кого из них увидела. Я слышу то, что они играют для меня, запоминаю, записывать не получается; пробовала один раз, полночи промучилась, а утром, когда проснулась, – смотрю, а на столе чистая нотная бумага. Но я точно помню, что записывала, – она посмотрела вверх и потѐрла пальцами виски.

Сейчас я иногда думаю, что мне следовало вскочить, бросить сто евро на столик и смыться, бежать без оглядки в свою Лиексу, навсегда забыть странную девушку со скрипкой. Но понимаю, что это ничего не изменило бы в конечном итоге. А тогда я не поступил так потому, что несложная, но очень красивая композиция вдруг привязала меня к непознанному, в один миг превратила в гения из сумасшедшего дома, крепко-накрепко убеждѐнного в том, что он слышит мелодии сфер. Но это было только самое начало. Поэтому легко поборов сомнения, решительно сказал: ”Я отвезу тебя в Россию. Тебя послушают серьѐзные музыканты, у меня много друзей. Быть может, у тебя впереди большое будущее и обеспеченная жизнь. Но дело даже не в обеспеченности, ты сможешь делать только то, что ты сама хочешь, я полагаю, это самое важное для человека. Для музыканта тем более”.

Еѐ лицо искривилось и стало неприятным.

– Вы ничегошеньки не поняли, – злым шѐпотом проговорила она. – Это не моя музыка. Мне просто отдают еѐ те, кто хорошо ко мне относится. Я не хочу выступать, не желаю обеспеченности, мне плевать на деньги. Когда они появляются, то липнут к рукам, а потом сам прилипаешь к ним, как выплюнутая жвачка, уже не имеющая вкуса.

– Ну, дорогая, – мне внезапно стало весело. – Знаешь ли, возможность иметь и тратить деньги таит в себе большие приятности, а главное, много открытий чудных, даже и без намѐка на просвещенья дух.

– Да, – еѐ голос стал ещѐ злее, она превратилась в маленькую, но очень злую мегеру, а я терпеть не мог женщин в таком состоянии, у меня начиналась изжога. – Да, если вы сильный мужчина и самодостаточны. А я – слабая женщина, я боюсь мира, людей, громких голосов боюсь и грубых слов, того, что вовсе не должно пугать. Но вам бы стоило после всего, что узнали…

Она не договорила. Запнулась, замолчала. Сгорбилась и опять стала тихим серым мышонком. Взяла футляр со скрипкой, сумку и быстро засеменила к выходу. Она смогла в минуту стать прежней, а вот я вдруг почувствовал, что прежним не стану уже никогда. Но выверенная годами рассудочность в изрядном количестве пока оставалась. Я бросился за Амандой, догнал только на улице, схватил за руку. Она посмотрела на меня глазами, полными слѐз.

– Почему, ну почему люди не понимают очевидного? – еѐ голос срывался. – Я же обыкновенный музыкант, таких много, я не имею понятия о композиции, не умею писать музыку, я и запоминаю-то еѐ с трудом, каждый раз больная становлюсь, неделю не могу прийти в себя. Мне страшно, мне кажется, что они издеваются, смеются надо мной оттуда, они злые, злые… – Аманда была близка к истерике.

Я усадил еѐ на скамейку у входа, погладил по волосам, потом взял за руку. Ладонь была потной и очень холодной.

Постепенно она успокоилась, всхлипывала только, потом посмотрела на меня, лицо опухло от слѐз.

– Не бросайте меня сейчас, побудьте со мной хоть недолго, ведь вы слушали Петра Ильича, вы узнали от меня много…

– Не брошу, – вымученно улыбнулся я. – Если будешь меня слушаться.

– Буду. Вы сильный.

Я ощутил себя сильным.

– Сиди тут, – сказал я, – вернусь через минуту.

Она забеспокоилась.

– Мне надо быть ночью у могилы Сибелиуса. Там есть калитка в парк, еѐ на ночь не закрывают, я проверяла.

– Будешь, будешь, – утешил я. – Ты не переживай, не сбегу. Я, в общем-то, порядочный.

Аманда с сомнением посмотрела на меня, но что-то в моей наглой физиономии внушило ей доверие, и она успокоилась. Присела на скамейку, положила футляр со скрипкой на колени, а руки – на футляр и замерла, глядя прямо перед собой. Я понял, что она умеет ждать и не собирался обманывать еѐ ожидания, хотя даже приблизительно не понимал, зачем мне это нужно. Чувствовал, что нужно, а вот способность понимать с чего-то утерял.

Я быстренько забрал в ”Херце” машину, неподалѐку обнаружилась гостиница с парковкой, не то, чтобы очень хорошая, но вполне сносная. Я снял две комнаты пока на сутки, а там посмотрим, и почти бегом вернулся к ”Зетору”. За время моего отсутствия ничего не изменилось: Аманда всѐ так же сидела, безмятежно глядя в глубину извилистой улочки.

– Что за нелепое создание, – подумал я, но тут же устыдился, вспомнив сыгранную для меня пьесу и свои от неѐ ощущения. Но стыд быстро прошѐл, это чувство было мне не очень свойственно. Я во многом пока оставался прежним, хотя необратимые изменения явно начались уже тогда, а понимаю я это только теперь, когда всѐ по-иному. Но засвербела мысль, что с Амандой я намучаюсь.

– Заскучала? – спросил я почти ласково, – мне казалось, что именно так надо говорить с детьми. И с ненормальными. Чтобы не злить.

– Я? Нет. С чего вы решили? – в еѐ глазах мелькнуло натуральное удивление. – Вы разговариваете со мной как добрый воспитатель с ребѐнком в детском садике. Напрасно. Вам не идѐт.

Слова были произнесены вроде без особого выражения, но в них проскочили явственные нотки ну очень злого сарказма. Мне показалось, что на меня вылили ведро холодной воды, а потом надели мне это ведро на голову и легонько стукнули по нему палкой.

– Ого, – сказал я себе, – барышня помимо талантов многих ещѐ и знает, как с мужчинами надобно обращаться, чтоб не зарывались. Такие как она обычно собственную фамилию через раз вспоминают, а тут поди ж ты…

Но нарываться больше не хотелось, это ничего не добавляло к ситуации и так довольно пикантной. Кроме того не приучен я был отповедям со стороны дам, пусть и негрубым. Они вызывали дисбаланс между моей бескорыстной любовью к женщинам и моим же умеренным мужским шовинизмом. Поэтому следовало сменить тон.

– Ладно. Заниматься твоим воспитанием я не могу и, откровенно говоря, не жажду, но ты обещала меня слушаться. – Я широко и благожелательно улыбнулся. – Пойдем, отдохнѐшь в гостинице, поужинаем и, помолясь, двинемся нашим крѐстным ходом. Хоругвей нет, господь окажется в затруднении, – я не удержался и незаметно хихикнул.

– Не говорите так. Над этим нельзя смеяться.

– С чего ты решила? Я и не думал. Просто…

– Думали, – перебила она. Глаза стали предательски намокать, хотя я видел, что она крепится изо всех сил. – Вы не верите в бога, дьявола, в чудеса, в музыку, мистику, насмешничаете, – неужели вы не верите ни во что?

– Ну почему? В себя верю.

– Вы полагаете, этого достаточно, чтобы жить?

Аманда, и не ведая того, задала мне вопрос, который я сам в редкие минуты меланхолии задавал себе. Но желания искать ответ на него никогда не испытывал. А если и пытался, приходил к тому, что размышления такого рода пусты и похожи на метание бисера перед свиньей. Причем в таких ситуациях этим, пусть и нелепым, но всѐ-таки очень полезным животным, был никто иной, как я сам. Поэтому быстро предложил Аманде не углубляться в тему, она неожиданно так же быстро согласилась. Напомнил в очередной раз, что обещала меня слушать, и предложил всѐ-таки трогаться.

Она кивнула и, замявшись, попросила: ” Мы пойдем к могиле вместе, но поклянитесь, что не будете подглядывать. Иначе …он мне ничего не подарит ”

– Клянусь, – я невольно улыбнулся, но подумал, что подглядывать, и правда, не стоит, а то случится что-нибудь, чего никак не ожидаешь. — ”Странно”, – подумалось мне, – ”с каких это пор я стал опасаться неизвестно чего? Эх, где мои семнадцать лет… ”

Время, однако, шло к вечеру. Мы благополучно добрались до гостиницы и разошлись по комнатам, договорившись, что я зайду за ней. Оставшись один, я прилѐг и задумался.

Всю свою не слишком тяжѐлую жизнь я делал только то, что хотел. Так сложилось, что судьба не сталкивала меня с тѐмными или даже просто некрасивыми сторонами существования в этом довольно-таки гнусном мире. О гнусности мира я доподлинно знать не мог, но присматриваясь к окружающим, догадывался. Всѐ-таки иногда думал, что для закалки на будущее некоторые трудности могли бы быть полезны, но скажите, кому в моѐм возрасте нужна такая закалка? Маленькие проблемы я или обходил стороной или пытался объяснить их появление, что опять-таки помогало успешно их обойти, – удавалось всегда. Поэтому я был убеждѐн, что при

наличии правильного подхода объяснить рационально, а главное с пользой для себя, можно всѐ, что угодно. Находил такое объяснение и теперь; случайно познакомился со странноватой девушкой, она рассказала мне сказку, – женщины такие фантазѐрки, право, ну ещѐ сыграла для меня скрипичную пьесу. И что? Я вѐл себя совершенно правильно, логично, гуманно: как не помочь нищенке, да ещѐ голодной? Только мои правильные рассуждения как морские волны о скалу, разбивались об одну простую вещь. Я впервые в жизни не верил ни одному своему слову в привычном внутреннем монологе. Потому что знал, совершенно не представляя, откуда это знание взялось, что всѐ произошедшее за столь короткое время не случайно, должно было произойти и обязательно со мной. Мало того, я прекрасно понимал, что это лишь начало, а вот к чему приведѐт это вроде как смешное приключение, – и представить не мог. Поэтому приложил максимум усилий, чтобы убедить себя в том, что всѐ идѐт по плану, – вот пристрою Аманду и уеду в Лиексу поправлять пошатнувшееся душевное равновесие. Вдруг вспомнил, как про себя назвал Аманду нищенкой. Подумал, что она надеется на меня, ждѐт помощи и ощутил острый укол стыда, – какое право я имею называть еѐ так? – мысли пришли в полное дезабилье. В голове всѐ перемешалось в кашу, и я уже не знал что правда, а что неправда, где начало и где конец, а главное, начало и конец чего. Дабы хоть как-то что-нибудь распутать, я вытащил из минибара минибутылочку вискаря, открыл и стал бездумно смотреть на тусклый город из окна своего номера.

И через совсем малое время я понял, что раздрай в моих мыслях имеет под собой твѐрдую, как в безводной степи, почву. Сейчас я понимаю, – то, что произошло со мной в следующие минуты, стало отправной точкой событий, вовсе перевернувших мою жизнь. А тогда, стоя у окна и держа в руках минибутылочку красного ―Джонни Уокера”,

с оптимизмом шагающего в никуда, я даже и представить себе не мог, насколько велики могут быть перемены. Я спокойно смотрел на скучные дома за окном, а они вдруг взяли и заколебались, как колышатся предметы в нагретом воздухе. Не то чтобы я ощутил раздвоенность, увидел что-то ирреальное, почувствовал себя другим, – нет, это слишком обыденно звучит, чтобы описать состояние, в которое я впал на некоторое время. Мне показалось, что серый город наплыл, тяжело навалился на меня, сильно уменьшил в размерах, изменил форму моего тела. Оно, тело, вдруг извернулось немыслимым образом, подобным же образом извернулось вслед за телом и сознание. Не могу уж сказать, что произошло с душой, – я никогда не ощущал еѐ и представления не имел, где она находится и есть ли у меня вообще. Я, конечно, не знаю, может ли мыслить и хоть что-нибудь чувствовать скрипичный ключ, но мне показалось, что я стал именно им, причем глядел на нотный стан глазами-точками, а линии нотного стана терялись бесконечно далеко, вполне по-человечески согласуясь с законами перспективы и вопреки канонам музыкальной грамоты, сходясь в одну точку. По линиям прыгали ноты, некоторые зависали на них, цеплялись и замирали, некоторые конвульсивно дергались и перелетали на соседние линии, где тоже не задерживались. Иные переворачивались, обретая хвост-загогулину, иногда две или три таких загогулины сразу.

Я наблюдал за этими игрищами глазами-точками, начиная находить даже некоторый интерес в полной скрученности своего тела, не испытывая от этого никаких неудобств, даже несмотря на то, что сверху на меня тяжко давило жирное слово ”moderato”, представляющееся мне массивной бетонной плитой, неизвестно на чѐм висящей и надежно ли закреплѐнной. Еѐ присутствие надо мной было неприятно, но она хоть спасала от дождика, идущего то вдалеке, то совсем рядом. А дождик был странный; сверху лились бемоли, диезы и редкие бекары, причѐм последние

падали стремительно, были крупными градинами и шлѐпались рядом с нотами, навсегда меняя их неясную мне судьбу. Я пока не обрѐл возможности слышать, и наблюдаемая мною буйная жизнь казалась хаотичной, хотя некие закономерности в ней конечно прослеживались, – кто-то выстраивал их по своему усмотрению. Но в какой-то момент картина изменилось. Точка, в которой сходились линии нотного стана, стала приближаться, и всѐ заняло свои места, остановилось, словно в детской игре ”замри”. Модерато перестало давить плитой сверху, ожило, встряхнулось, словно собака, забормотало по-итальянски и превратилось в мерцающие волшебные пятна. Засветились и ноты; какая весело, переливаясь, какая грустно, монохромно, какая – безнадежно тускло и вяло. Линии нотного стана тоже приобрели цвета, довольно унылые, правда, – какие-то военные, пятнистые окрасы почудились мне. Но я понял вдруг, что главное – в той самой, приближающейся ко мне точке перспективы, которой в нотном стане нет, потому что пять линий параллельны и всегда резко обрываются, чтобы снова возникнуть внизу. И я вздохнул легко, свободно, раздулся даже от гордости, толкнув животом ”соль диез”, которая от неожиданности заметалась и перепрыгнула на почтительное от меня расстояние тактов в десять. Я с превосходством скосил глаза вниз на уродливый и до отвращения примитивный басовый ключ; решил было сказать что-то, какую команду дать, сочтя себя за главного, но в этот самый момент всѐ вдруг исчезло. Я снова стоял у окна с пустой минибутылочкой, которую, оказалось, вылакал из горлышка не разбавляя. А весѐлый Джонни погрустнел, поняв бессмысленность своих стараний вырваться за пределы этикетки.

– Боже мой, что это было? – с испугом, ужасом даже, подумал я. Произошедшее казалось реальным настолько, что оторопь брала; конечно, проще всего было бы списать это на временное помутнение рассудка, но уж слишком

живой был та нотная свалка, в которой я оказался и даже успел ощутить себя главным. – ~~В~~от только глюков мне не хватало", – пришла мысль. – ~~Н~~е повредился ли я рассудком, как моя подопечная? Голова к тому же до сих пор кружится, черт еѐ возьми. Скрипичный ключ, это же надо.… Как бы в песню про влюбленный самолѐт не превратиться", – я вдруг ясно представил себе такое страшное окончание своей короткой ещѐ жизни и окончательно расстроился.

В сугубо медицинских целях я достал вторую минибутылочку, вылил в стакан и заглотал, тоже не разбавляя. Та же судьба ожидала третью и четвертую, потом они кончились и мне стало легче. Я глянул на свой "Frank Muller", которым очень гордился, и понял, сильно удивившись, что пролетело пять часов. – ~~Н~~еужели за пределами родной страны время имеет особенность сворачиваться, да ещѐ таким извращѐнным способом?" – грустно подумал я. – ~~В~~роде не замечал раньше, хотя бывало, выпивал и много больше". Но минибар был пуст, и я поплѐлся в комнату Аманды. Она сидела на кровати, всѐ так же положив на колени футляр, а на футляр руки. Увидев меня, она вскочила и преданно посмотрела снизу вверх.

– Вы меня не бросили...

– Тебя бросишь, – вздохнул я. – Знала бы ты, какой кошмар со мной приключился, куда там твоим похождениям в Риме. Ну, поедем, что ли....

– А что случилось?

– В общем, ничего особенного. Видение мне было. А так, – ничего.

– И у меня они бывают, – радостно сообщила Аманда, – особенно если в Москву не пустая возвращаюсь, ну в смысле с музыкой. Ночью иногда то ли сплю, то ли нет, сама не знаю, только кажется мне, что я часть музыки, иногда тема, иногда – партия какого-нибудь инструмента,

а иногда – целая композиция. Вы кем были? – вдруг без всякого перехода и очень серьѐзно спросила она.

– Скрипичным ключом, – буркнул я, без малейшего желания конкретизировать. – Ехать пора. Ох, не кончится это добром…

– Бросьте, всѐ хорошо будет, – Аманда махнула рукой. – У меня теперь есть вы, одной знаете как трудно? Денег вечно не хватает. Нервы. Хандра. Срывы. Чего не бывает? А сегодня всѐ получится как надо, я знаю.

– Ладно, хватит ерунду молоть, – я окончательно разозлился. – Всѐ, что могло получиться, уже получилось. Поехали. А то до рассвета не доберемся, петухи прокричат и хана нашей затее.

– Петухи тут ни причѐм, – без тени улыбки сказала Аманда. – Тут другое, – я обратил внимание, что на этот раз она не обиделась. – Вы сами поймѐте.

До дома Сибелиуса было недалеко, минут двадцать на машине из центра.

– Час ночи доходит, – сказал я, посмотрев на часы. – Нас в полицию не загребут?

– Не-а, – легкомысленно ответила Аманда. – Ворота заперты, а калитка останется открытой. У сторожа обострился ишиас, он поручил своему сыночку Пертти подежурить, а этот балбес, поехал катать девчонку на мотоцикле. Мы же в дом не пойдѐм, хотя... было бы интересно. Он, наверное, и там мелодий накидал.

– Боже мой, кто?

– Сибелиус, конечно. Мне однажды ночью удалось пробраться в дом Штрауса-сына в Вене, пообещала охраннику любовное свидание, ну он и пустил. Так я чуть с ума не сошла от звуков, там под каждым стулом валялся обрывок вальса или ошмѐток польки. Штраус такой безалаберный, право, не в папу пошѐл. Но не жмот, как Орф, например. Отдал мне секвенцию для фуги, это большая редкость, до сих пор неизвестно ни одной.

Я в очередной раз хотел возмутиться, но вспомнил, как меня скрутило в скрипичный ключ, и от проявления эмоций воздержался. Оказалось, не зря. Все только начиналось.

Аманда уверенно провела меня узкой дорожкой сада. Чуть вдалеке чернел дом, в котором когда-то счастливо жили Ян Сибелиус и его жена Айно. Могила маэстро располагалась неподалеку, – простой чѐрного мрамора прямоугольник, освещенный тремя низенькими фонарями, хорошо стилизованными под старину. Аманда встала у могилы. Обернулась и посмотрела на меня.

– Борис, отойдите, пожалуйста, за беседку. И...не подглядывайте. Очень вас прошу, – голос еѐ дрогнул.

Ну как тут было не подглядывать? Только представьте себе: тѐмный сад, ночные запахи, пение птиц и женщина со скрипкой у могилы, в которой покоится гордость всего маленького финского народа. Я всегда опасался романтических настроений, но тут проняло. Тем более, происходящее удивления не вызывало, – присутствовало только ощущение, что кто-то рассказывает мне сказку. Интересную, с непредсказуемым сюжетом, но всѐ-таки сказку, которая забудется, как только рассказчик закончит, зевнѐт и скажет: ―Ну, пошли, что ли, Борик, обедать, борщ стынет; жена туда гренки пережаренные добавляет, язык проглотишь. И по рюмашке, по рюмашке, после моей сказочки с намѐком, – оно положительно очень, да и намѐк понять легче”. Однако тогда я и представления не имел, какое удивительное продолжение будет иметь эта сказочка. И чем закончится. Впрочем, я до сих пор сомневаюсь, что она закончилась. События, о которых я повествую, сильно помяли мою индивидуальность, вот и заполучил отвратительную склонность к сомнениям. Раньше они бежали от меня, как круги по воде бегут от брошенного камня, а теперь вот – извольте...

Итак, я стоял за беседкой, борясь с желанием выглянуть и подсмотреть, что делает у могилы моя экстравагантная знакомая. Колебался я не слишком долго, решив, что там вряд ли происходит что-нибудь особенное. Но только я собрался вероломно нарушить данное слово, как услышал звуки скрипки. Я никогда особо не интересовался нордической классикой, не любил тяжѐлого Грига и невнятного Карла Нильсена***, но к музыке Сибелиуса относился благосклонно и кое-как был с ней знаком. Мелодия, плывущая по саду и, что странно, звучащая как будто в хорошем, небольшом и уютном зале, а не под открытым небом, была, несомненно, музыкой Яна Сибелиуса. Напоминала ―Грустный вальс", но одновременно и его позднюю духовную музыку. Я замер; то, что я ощущал, трудно описать, да и не смогу, наверное, стоит ли зря пыжиться. Только вот возникло у меня перед глазами лицо Аманды, возникло и не пропадало; я ничего не мог с этим поделать, – оно непостижимо соединилось с музыкой, ночными запахами сада, лѐгкими порывами ветра, тусклым светом низеньких фонарей, заслонило всѐ и совместилось со мной. – ―Боже мой, она же ненормальная, да и страшная к тому же", – продралась сквозь большой неухоженный куст ощущений вполне житейская мысль. – ―Влюбиться только не хватало. А почему нет? Скучно не будет, уж точно. Правда, лишусь я милой придурковатости своего золотого окружения, но потеря-то не велика, пусть идут от меня, солнцем палимы…".

Но влюбиться я не успел, потому что больше с Амандой никогда не встречался.

Закончив борьбу с собственной порядочностью и победив еѐ нокаутом, я выглянул из-за беседки. Аманды не было. Я протѐр пальцами глаза, потом сильно зажмурился, но увидел только мраморный прямоугольник могилы, деревья и фонари. Ах да, прямо на мраморе лежал распахнутый футляр, в котором, словно в гробу, – и бархат был красный, – покоилась скрипка. Я совершенно не

удивился, страшно не стало, однако подошѐл к могиле почему-то крадучись. Только тут до меня дошло, что музыка продолжает звучать. Я прислушался, но так и не понял, откуда она исходит. Как только прислушался, мелодия стала сбиваться, фальшивить, утихать. Наконец, полностью растворилась в пряном воздухе сада, оставив шум ветра более громким, а птичьи рулады более звонкими. Я обошѐл вокруг могилы, несколько раз громким шѐпотом позвал Аманду. Что было делать? Я растерялся. Забрать скрипку, да и вообще прикоснуться к ней казалось кощунством. Я только подошѐл ближе, присел на корточки и рассмотрел инструмент внимательнее. Скрипка была явно старинной, потѐртой, с потрескавшимся лаком. Я нагнулся и разглядел небольшой причудливый вензель, состоящий из букв ~~"A~~" и ~~"G~~". Меня хватило только на то, чтобы взять лежавший прямо на земле у могилы смычок, – он показался мне нежным и живым, словно узкое, тѐплое запястье молодой девушки. Я аккуратно положил его на скрипку, будто боясь, что он подхватит простуду от холодной земли, и пошѐл прочь из сада с твѐрдым намерением лечь спать, а наутро заявить в полицию. Шѐл пешком, долго, всѐ думал, думал. Однако ни к каким заключениям не пришѐл.

Вернувшись в гостиницу, я уснул мертвецким сном, проснулся лишь около полудня. То, что произошло ночью, казалось смазанным, не очень реальным, вроде было, а вроде и нет, сливалось со сном. Состояние напоминало противное похмелье, только голова не болела. Мой ночной порыв идти утром в полицию показался совершенно глупым, стоило на секунду представить лица финских полицейских, слушающих мой рассказ. Кроме того, на природу и в уединение расхотелось совсем. С некоторым опасением, что опять окажусь в каком-нибудь ноктюрне посреди нот разной степени длительности, да ещѐ вдруг шестнадцатой или тридцать второй, подошѐл к окну и посмотрел на пасмурный город. Но ничего такого не

произошло. Зато я почувствовал вдруг, что внутри меня зарождается и растѐт желание покинуть скучную Финляндию, как можно быстрее вернуться в Москву, всѐ забыть и обязательно что-то делать. Хотя бы продолжить воплощать в жизнь и интересные, и совсем пустые идеи, которые я заморозил перед отъездом.

Окончание – в следующем номере

** Чего я только не достигну (лат.)*
*** Советские художники, представители социалистического реализма*
**** Крупнейший датский композитор, оказавший существенное влияние на европейскую музыку 19-20 веков*

Андрей Оболенский *– коренной москвич. Врач-педиатр, имеет большую и давнюю частную практику. Намеревается оставить медицину и посвятить себя литературной деятельности. В одном из московских издательств в текущем году выходит книга его прозы.*

Публиковался в различных литературных журналах и в интернет-изданиях. Его рассказы вошли в шорт-лист последнего Волошинского конкурса.

Впервые опубликовался в нашем журнале в номере 1(33) за этот год рассказом “ Боги старухи Фонкац”.

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПАНОРАМА

«Медный всадник» стальным был написан пером,
Не гусиным, -- и это заметно,
И особенно там, где, задуман Петром,
Город чудно вознѐсся, победно.

Есть горячая связь меж пером и рукой,
Стихотворной строкой и суставом
Локтевым, меж тяжелой, державной рекой
И живым человеческим правом.

И любуюсь царем, и Евгения жаль,
Как утешить его, как спасти нам?
Словно автор откладывал в сторону сталь
И писал о нем прежним, гусиным.

***
Три раза имя он менял.
Не сам менял, -- ему меняли.
Когда б Париж так пострадал
Иль Рим, то выжили б едва ли.
Блестит Нева, как тронный зал,
Толпятся чайки на причале.

Столицу северную жаль.
Смотрю на бывшую столицу:
Как будто вынесли рояль,
Как будто вырвали страницу.
Но как идет ему печаль,
Какое счастье в нем родиться!

***

Кто живет в этом доме, тот домом своим не любуется:
Он не видит фасада.
А фасадом любуется тот, кто проходит по улице,
По другой стороне ее – не отвести ему взгляда.
Рядом с ним его спутница,
Хорошо ему с ней, она всѐ понимает, как надо.

Замедляя шаги, говорит ей, как другу Горацию:
Посмотри, что за чудо!
Как люблю я симметрию эту и конфигурацию,
Принесенную в сумрачный мир неизвестно откуда!
И в нирвану, в прострацию
Впору впасть, да нельзя: Аполлон здесь уместней, чем
Будда.

К человеческой правде добавлена лучшая, вечная,
И подсказано свыше
Нам, что к жизни нельзя относиться, как мы, недоверчиво.
Слышишь, что говорит эта статуя в каменной нише?
Что бессмертие нам обеспечено,
Только не заносись: тем надежнее тайна, чем тише.

***

Смотрю на ростры эти, шпили,
На блеск Невы и мощь ее.
Как будто небо закрепили
За каждым городом свое,
И петербургское иначе,
Чем флорентийское, глядит,
То просияет, то заплачет,
То самый мрачный примет вид.

Нам переменчивость присуща,
Нам постоянство не дано.

Нам будет скучно в райских кущах
Блаженство вечное одно,
Тоски захочется, печали,
И снег нам нужен, и дожди.
И во Флоренции б скучали, --
Попробуй год там проведи.

***

Львы разинули пасти,
Нам расправой грозя.
Разве можно от власти
Отказаться? Нельзя.

Им, гранитным ли, медным,
Представляется власть
Древним делом заветным:
Прикипеть к ней, припасть!

Не расстанется с нею
Тот, кто к власти пришел.
Забегает в аллею
То Борей, то Эол.

Раскрывает объятья
Дуб, листвою кипя:
Никаких демократий,
Умоляю тебя!

Тень дежурит в подъезде,
Как Ашшурбанипал.
Ты бы на его месте
Тоже власть не отдал.

И нельзя вполнакала
Власть любить – отберут.

И не зря Каракалла,
Строя бани, был крут.

И клянутся богами,
И глядят всѐ мрачней.
Как тебе со стихами,
Не расстаться им с ней.

***

Аллея похожа была на туннель
Под липами в сладком цвету
И голову сырость кружила, как хмель,
И чудный был сумрак в саду,
А дальше не знаю, о чем рассказать,
Но, выйдя на солнечный свет,
Хотелось в аллею вернуться опять, --
Какой баснословный сюжет!

Какой прихотливый, желанный какой,
Причудливый, было бы жаль
Его погубить, заменив на другой,
Смутить, увести его вдаль,
Придать ему важности, встречу в саду
Нездешнюю изобрести.
Не надо! Вернусь и еще раз пройду
Назад по тому же пути.

Александр Кушнер *– замечательный русский поэт. Живет в Ленинграде. Автор около 50 книг стихов (в том числе для детей) и ряда статей о классической и современной русской поэзии, собранных в пяти книгах. Иосиф Бродский дал такую оценку его творчества: «Александр Кушнер – один из лучших лирических поэтов XX века, и его имени суждено стоять в ряду имѐн, дорогих сердцу всякого, чей родной язык русский».*

ГАЛИНА КОМАРОВСКАЯ

РАССКАЖУ ТОЛЬКО ТЕБЕ…

Из жизни русских в Майами: отрывки из романа

Кв. № 1604. ДУСИК. Жизнь по правилам

Я давно уже понял: пока соблюдаешь правила, всѐ будет в порядке. И главное правило я установил с самого начала, и оно было гениальным, а, следовательно, простым: никогда и никому не отдавать ключи в руки. Ни Бобу, ни Вадику, ни Ричи. И обязательно всѐ заранее проверяю лично. Точка.

Схема была разработана, отлажена, опробована и подчинена правилам. Не нравится? Гуляйте! В полном смысле этого слова. Гуляйте по улицам. В парке можно погулять, по Коллинз-авеню прошвырнуться, в Южный Майами съездить потусить. Но уж если приспичило и надобность в тет-а-тет печѐт в определѐнном месте, следуй правилам и держи язык за зубами.

Ещѐ одно моѐ гениальное изобретение – слепые солнечные очки. Я взял у маман старые солнечные очки, они ей не скоро понадобятся, и оклеил стѐкла с внутренней стороны фольгой. Слепые очки нужны для тѐлок. Каждая должна надеть их, входя в лифт. Это тоже правило, благодаря которому они никогда не знают, на каком этаже остановится лифт и какая квартира распахнѐт свои гостеприимные объятия.

Всѐ учтено могучим ураганом, то есть мной.

Но самое главное правило требовало убедиться в том, что квартира пуста за несколько минут до того, как я, щедрый и понимающий властелин, запускал гостей во временное пристанище.

Я шѐл по коридору неспешно и спокойно, останавливался у нужной двери, приседал на корточки и делал вид, что заново завязываю шнурок на кроссовке, при этом оглядывал коридорные дали вперѐд и назад.

Убедившись, что никто меня не видит, я вставал и быстро вставлял ключ в замочную скважину. Упорные тренировки на нашей двери дали замечательный результат, я бы мог участвовать в соревнованиях.

Рука подлетала на нужную высоту в одно мгновение, без промаха вставляла ключ в отверстие, лѐгкий поворот – и мы уже внутри: я, ключ и испарина на моѐм лице, возникшая, будем считать, от духоты. Вдох, выдох. Всѐ понятно. Квартира необитаема. Я быстро обходил комнаты. Из пакета, пригретого под майкой, вытаскивал дежурную простыню, бросал еѐ на диван, тахту или ковѐр, в зависимости от того, чем богата была квартирка, и возвращался к входной двери.

Важный момент – войти незаметно в квартиру, но выйти из неѐ так, чтобы не натолкнуться на удивлѐнного жителя из апартаментов напротив, решившего перед сном прогуляться до мусоропровода, – ещѐ важнее. Поэтому никаких поспешных распахиваний дверей, а медленное и тихое приоткрывание, прислушивание и мгновенное перемещение на нейтральную территорию общего пользования. Дверь в квартиру закрыта, но не заперта, и я, не спеша, ухожу в конец коридора за дверь, ведущую к пожарной лестнице и мусоропроводу, оставляя щель, через которую просматривается весь длиннющий коридор. Тѐлка не должна знать, почему дверь в пустую квартиру оказалась открытой и кто есть добрый волшебник, дарующий приют юным влюблѐнным.

Есть и другие правила. Например, приносить любые напитки и еду категорически запрещается. Возлежать можно только на ложе, застеленном дежурной простыней. На аккуратность Боба, Вадика и особенно Ричи я не рассчитываю, поэтому следующее правило требует всѐ после них проверить и привести в состояние, в котором квартира была до тайного свидания. И ещѐ я запрещаю включать свет в жилых комнатах, только в ванной.

И Боб, и Вадик мои правила не просто принимают, они их обожают. Ричи ворчит, но подчиняется. Девчонкам строгие правила тоже нравятся, наверное, потому, что добавляют любовному приключению таинственный аромат.

Кв. № 1607. МАРИНА. Два сна

Мне снятся два сна по очереди.

То я вязанкой дров еду на телеге по разбитой мостовой. Голова непрерывно трясѐтся и звенит вместе со струной, натянутой между левым виском и затылком. В унисон с головой вибрирует светящийся шар. Он плывѐт над телегой, немного отстаѐт, потом нагоняет, опускается всѐ ниже, разбухает раскалѐнной тяжестью, становится таким огромным, что, кроме него, надо мной ничего больше не существует, и, как только я начинаю понимать, что этой громадине на весу не удержаться, он падает прямо на меня, я кричу, сплющиваюсь, растекаюсь шипящими струйками, раскидываюсь обугленными ошмѐтками и оказываюсь в другом сне с горящими губами, склеенными горячим мазутом, в котором копошатся неутомимые муравьи, вызывая нестерпимый зуд и невыносимое желание повыковыривать изо рта муравьѐв, и мазут, и язык, которого так много, что нет места ни для глотка воздуха, ни для слюны, которую хорошо было бы сглотнуть, потому что очень, очень хочется пить, и дышать, и вытолкнуть из себя мерзких насекомых. И тогда я вдыхаю носом как можно больше воздуха, перекатываю его в горло и пытаюсь вытолкнуть через рот, но у меня не получается.

Рта нет и нет рук, а только ноющие свинцовые трубы, намертво притиснутые к телу, которое опять уже вовсе не тело, а вязанка дров на телеге, а над телегой – далѐкая яркая луна раскачивается и опускается ниже и ниже. В висок ввинчивается шуруп, к нему привязана струна и подтянута к другому шурупу, крепенько

ввинченному в затылок. Кто-то оттягивает струну и отпускает, она звенит, звон проникает в мозг и возвращается в затылок явственно слышимым, хотя и очень тихим, журчаньем. Если это сон, то я проснусь и что-то увижу, а потом уже подумаю.

Если это не сон, то думать нужно сейчас.

Во-первых, почему я ничего не вижу?

Во-вторых, почему я не могу пошевелиться?

Почему болит всѐ тело и особенно затылок?

Почему я лежу на чѐм-то твѐрдом и мокром?

Мамочка, где я?!

1604. НИНА. Мечты о шампанском

Одни и те же люди входят и выходят. Примерно пятьдесят, а в доме четыреста квартир. Где остальные – понятно. Они въезжают в гараж и поднимаются в квартиры в боковых лифтах. Приезжают, уезжают, привозят продукты, цветы, пиво и вино, шампанское. Как давно я не пила шампанского. Для нашего климата нет ничего лучше очень сухого, холодного, в красивом бокале.

Где-то уже существует бутылка «Вдовы Клико», из которой я налью себе для начала полбокала. Да, я налью немного шампанского, но бокал до краѐв заполнится пеной, тоже очень вкусной, хотя пена почему-то не бывает такой холодной, как само вино. Я это сделаю, обязательно. Скоро. А пока посижу здесь, рядом с Беверли.

Это была хорошая идея сидеть в холле рядом с Беверли. Никто не хочет смотреть на еѐ бледное, морщинистое, удлинѐнное костистое лицо, а заодно и меня не замечают.

Интересно, американцы знают, что она вылитая сестра-близнец Кощея Бессмертного? Откуда? Они о Кощее не имеют никакого понятия. Сколько же ей лет? Девяносто? Тогда она хорошо сохранилась. Сама передвигается, на кресле с моторчиком. Всѐ про всех знает, особенно про Президентов страны и губернаторов

Флориды. Наверное, из газет, а может быть, и из Интернета. Здесь старушки очень продвинутые, особенно в технике. И ещѐ она очень душевная. Каждый вечер, прощаясь, обещает, что я «гет вэл сун». На самом деле я уже «гот вэл», но этого никто не должен знать, особенно Мария и Дусик.

А вот и Мария! Сейчас она отвезѐт меня домой, откроет баночку йогурта, помоет моѐ прекрасное безвольное тело, которое, как она уверяет, дорого стоит, если правильно продавать, и положит спать, как бэби. А бэби потом полночи будет смотреть телевизор – особый дар Господа убогим и парализованным.

1812. ВИКА. Каникулы в Майами

Пиндосы, они пиндосы и есть. Обрыдли до макушки. Мамочке большое отдельное спасибо. «Ах, моя Вика проводит лето в Майами!». Уже, наверное, и в деревне Дурнево Калужской области все знают, что лето в Майами проводят только те, кому больше деваться некуда.

Бабку выслали из Нью-Йорка, чтобы под ногами не болталась и квартиру во Флориде сторожила, а звон такой, будто дядя Сеня и рай мамаше на старости лет устроил, и племянницу на отдых от российской действительности принял с целью поддержания родственных связей и улучшения английского языка этой самой племянницы.

Английский я слышу главным образом по телику. Испанский было бы выучить легче. Спэниша здесь в пять раз больше, чем инглиша, но, конечно, не так много, как русского. Кто же может себе представить в Москве, что русский язык в американском Майами – везде!

Санни Айлс – это не совсем Майами, а район Майами, типа как в Москве – Северное Бутово. Так вот, Солнечные Острова, это, как бы, не Северное Бутово, а совсем наоборот – Норс Майами, но по некоторым признакам не сразу въедешь, где находишься.

В первый день на пляже я думала, что у меня крыша поехала или самолѐт куда-то не туда залетел. Все говорят по-русски. И все эти русскоязычные – пузатые старики и старухи, которые из Принстон Тауэр набежали с пляжными креслами и зонтами. Бабки даже в воде сидят в шляпах и обсуждают американские успехи своих сыновей и дочек – врачей и лоеров, то есть юристов.

Моя бабулька ходит на пляж редко, в бассейне плавает по утрам. Там у них клуб вдовых сердец, это она сама так говорит. Меня тоже звала, но я не вдова и по утрам сплю, а по вечерам тусуюсь с парой человеков известного происхождения. Для этих гадов английский – родной, а со мной говорят по-русски. Только Ричи выдаѐт гремучую спэниш-рашн-инглиш. У него отец с Кубы, а мама с Таганрога.

В нашем доме вообще чуть не половина жильцов – русскоязычные, а от второй половины половина, опять-таки, испаноязычные, потом идут франкоязычные канадцы и чуток американцев. По телику испанских каналов не меньше, чем английских, и фильмы у них интересней. Любовь так любовь, мужчины так мужчины. Рубашки до пупа расстѐгнуты, и не противно смотреть.

Улетаю 26 августа. Пять дней, только пять дней и всѐ. Прощай, липкая жара на воздухе и колотун от кондеев, куда только не войдѐшь. Психи. Энергию не берегут. Холодят так, будто умирают от ностальгии по Сибири. Так поезжайте в Оймякон, если вам собственная Северная Дакота – не пряник.

1604. НИНА. Жильцы-невидимки.

Я называю их невидимками. Они живут в этом огромном доме, любуются отодвинутым в сторону океаном, для разнообразия перечѐркнутым штрихами стоящих на самом берегу небоскрѐбов, загорающихся огнями в тѐмное время суток и не позволяющих плоской водной громаде по ночам превращаться в чѐрную бездну.

Они включают и выключают свет в своих уютных комнатах, пользуются горячей и холодной водой, стряпают еду на электрических плитах или подогревают в микроволновках готовые блюда, смотрят телевизор, сидят часами у компьютеров, разговаривают по телефону, но ни консьерж, ни швейцар, ни я их не видим.

Некоторые из них время от времени проскальзывают от центральных лифтов в узкий проход, ведущий к холлу с почтовыми ящиками, и это торопливое появление, а вслед за ним незаметное исчезновение делают их окончательно чужими в нашем четырèхсотквартирном доме.

Они существуют невидимками, никогда не покидают дом через центральный вход и никогда открыто не возвращаются, кивая швейцару с приветливостью, подобающей жильцам Принстон Тауэр.

Я думаю о них и сравниваю с собой, с леди в инвалидном кресле, которой нечего скрывать. Меня хорошо видно тем, кто приходит и уходит мимо консьержа и швейцара, всем видимым жильцам, гостям, медсèстрам, нянечкам, а также любителям настольного тенниса, которые берут у консьержа ракетки и до полуночи галдят в игровой комнате.

На самом деле я думаю о них очень мало, я очень много думаю о нèм, о полуневидимке с круглой оранжевой безволосой головой и голубыми глазами, смотрящими только вперèд и никогда в сторону, где его взгляд может наткнуться на кривую усмешку неподвижной дамы в кресле на колèсах.

1607. МАРИНА. Феромоны

Телегу тряхнуло, и из неè посыпались феромоны. Маленькими юркими паучками, не знающими преград, они проникли через скафандр, в который замуровано моè тело,

и жаждущей стаей накинулись на мокроту, хлюпающую под моей спиной.

Феромоны. Почему я решила, что это феромоны? Откуда я знаю это паукообразное слово, от которого нестерпимо чешется спина и задница? Хотя бы это я могу вспомнить? Феромоны, феромоны… Я мысленно повторяла это слово десятки раз, я цеплялась за него как за пароль, как за ниточку, ухватившись за которою мне удастся прийти к себе, и я пришла к Тусе. Феромоны меня к ней привели, а от неѐ я вернулась к себе.

Я вспомнила еѐ телефонную лекцию про это удивительное что-то. Она объясняла мне, необразованной отсталой идиотке, что муж не проявляет ко мне никакого эротического интереса оттого, что я перестала вырабатывать феромоны. А феромоны – это волшебные невидимые вещества, наличие или отсутствие которых напрямую связано с сексуальной жизнью, и, поскольку всѐ в природе закольцовано, то и организм женщины, сексуально неактивной, вырабатывать феромоны не способен, а женщина в отсутствии феромонов для мужчины сексуально не привлекательна, а значит – неоткуда ждать активного секса, и мой муж поищет и непременно найдѐт какую-нибудь другую женщину, у которой с феромонами и сексуальной привлекательностью всѐ в порядке.

И я вспомнила, как мне стало страшно от этой бесферомонной безысходности, и как Туся меня успокаивала, рассказывая, что у постороннего мужчины сексуальное влечение может возникнуть к женщине и без феромонов, исключительно из интереса интеллектуального, эстетического или охотничьего. Туся немедленно начала разрабатывать конкретный план моего возвращения в число желанных и феромонно-привлекательных женщин, но остановилась для того, чтобы прийти в восторг от моего признания, что начальная

ступень этого плана осуществилась сама собой. Чужой мужчина уже проявил ко мне интерес.

1604. НИНА. Яцек. Кофе над заливом

На то, чтобы пережить свою глупость, из-за проявления которой я обычно страшно, просто до отчаяния, переживаю, у меня уходит несколько дней. Постепенно острота отчаяния проходит, еѐ место занимают лѐгкие сожаления, успешно подавляемые потугами на юмор.

Он позвонил и сообщил, что был очень занят, за что приносит извинения.

Чем был занят неработающий пенсионер пять дней подряд настолько, что не мог потратить на звонок даже пару минут, я спрашивать не стала. Всѐ-таки развод многому учит. Поэтому я пощебетала о погоде, о неработающем грузовом лифте в западном крыле здания и о Дусике, который на каникулах собирается навестить отца и бабушку в Нью-Йорке.

В ответ на моѐ щебетанье Яцек пригласил меня на чашечку кофе не далее как завтра утром.

И вот я стучу в его дверь на пятнадцатом этаже.

Дверь распахивается, и в нос ударяет сильный аромат цветочного парфюма в смеси со свежесваренным кофе и чем-то ещѐ, до тошноты неприятным, отдалѐнно знакомым и давно позабытым.

Яцек обнимает меня за плечи, улыбается, заглядывает в глаза, и мы быстро проходим через просторную гостиную на балкон, нависающий над перламутровой гладью залива.

Владимир Набоков называл Фрейда венским шарлатаном и к его учению относился непочтительно. При всей моей любви к великому писателю с его отрицанием фрейдовского учения я согласиться не могу, так как лично являюсь яркой его иллюстрацией и, глядя на себя, как бы со стороны, вижу, что детские впечатления успешно

руководят мною, почти пятидесятилетней разведѐнной женщиной.

Прежде всего, на меня повлияло то, что мой дедушка умер не в своей постели. Постель, в которой с ним случился инсульт, была настолько не его, что бабушка поначалу даже хоронить деда не хотела, а целые сутки смотрела телевизор и шипеньем запрещала моей маме подходить к телефону и совершать любые предпохоронные действия.

«Пусть эта б... старого хрыча сама и хоронит», – громким шѐпотом повторяла бабушка, с ненавистью уставившись в экран.

Мама показывала глазами на меня, качала головой и просила бабушку прекратить истерику. Так я получила информацию о том, что для пожилого мужчины занятия сексом с женщиной, моложе его более чем на десять лет, чреваты инсультом, параличом и, если всѐ сложится удачно, то и летальным исходом.

За летальный исход бабушка всю оставшуюся жизнь неустанно благодарила Бога, так как за «парализованным кобелѐм» ухаживать не собиралась.

Именно поэтому наши с Яцеком романтические досексуальные отношения растянулись на целых полгода, что, к моему первоначальному удивлению, его не устраивало.

Мы познакомились у бассейна, затем несколько раз встретились в лифте, потом, как бы случайно, столкнулись у почтовых ящиков, посидели в лобби, вспоминая польские фильмы тридцатилетней давности, что дало мне возможность сверкнуть эрудицией и хорошей памятью на имена польских актѐров и режиссѐров.

Платонический роман набирал обороты. Мы ездили прогуляться по Линкольн-стрит в Южный Майами, поздними вечерами наслаждались свежестью ночного бриза на городском пляже, слушали выступления музыкантов на открытой эстраде на бордвоке, говорили о

политике, экономике, психологии, добрались до ментальных различий между мужчинами и женщинами и плавно перешли к теме любви.

Поначалу мне, наивной идиотке с воображением, ограниченным скудным жизненным опытом, казалось, что шестидесятишестилетний Яцек, несмотря на спортивную поджарость и горящую искорку в бирюзовых глазах, искал и нашѐл во мне интересного собеседника и нежную платоническую подругу. Но во время ночных прогулок мой интеллектуальный друг всѐ настойчивей припадал губами к моему скромному декольте, целовал с молодой страстью, называл «кохана мое» и убеждал в необходимости перейти к настоящим отношениям.

К тому моменту я и сама вполне была готова перейти к настоящим отношениям, но очень мешала бабушка, вновь и вновь громким шѐпотом спрашивающая маму, не отрывая глаз от телевизора:

– Представляешь, как она обрадовалась, когда он задѐргался и глаза выпучил? – и удовлетворѐнно улыбаясь, продолжала: – Небось, сначала думала, что это страсти такие африканские.

Мама скашивала глаза в мою сторону и просила бабушку перестать говорить глупости, но бабуля распалялась, шѐпот переходил в выкрики, и бабушкины волнения гасились набегом на холодильник. Совершенно забывая о том, что не далее как час назад был съеден плотный ужин, бабушка отправлялась на кухню, намазывала кусок хлеба маслом, сверху в два слоя аккуратно укладывала кружки докторской колбасы, и дедушка и его бесславная смерть в чужой постели на некоторое время оставлялись в покое.

А утро было великолепным. По сверкающему зеркалу залива с северных причалов к южному выходу в океан скользили белые катера и яхты. Облака сбились в многослойную перину и деликатно курчавились

верхушками на далѐком горизонте, оставляя чисто-голубым огромный небосвод.

Яцек принѐс поднос с изысканными чашечками старого тончайшего фарфора, сахарницей, сливочником и джезвой, накрытой, как крышкой, плотной шапочкой кофейной пенки.

У меня не было сомнений в том, что кофейная церемония – это только прелюдия того, что должно было произойти далее по логике всей нашей романтической истории с ухаживаниями, беседами о превратностях любви с лѐгким эротическим подтекстом, ссорами из-за ничего, разрывами по пустякам и как бы случайными встречами, после которых нежная дружба восстанавливалась, а взаимный интерес подтверждался.

Маленькими глоточками я потягивала густой горьковатый кофе, осторожно сжимая двумя пальцами тонкий завиток ручки кофейной чашечки, удовлетворѐнно оглядывала свежий маникюр, выдвигала из-под кресла ногу в открытых босоножках, любуясь безупречным педикюром и гладкими свежевыбритыми коленями.

Подготовка к долгожданному сексуальному событию после длительного воздержания была серьѐзной и включала не только чисто практические действия по приведению своего тела в максимально возможный порядок, но и, учитывая трагический дедушкин опыт, некоторые теоретические изыскания.

В этом мне очень помогла нью-йоркская Наташа. Мы обсудили возможные опасности, и она прислала мне руководство к действию на случай внезапного инсульта у сексуального партнѐра, а также внешние признаки надвигающегося несчастья.

С трудом представляя, в какой момент будет к месту попросить Яцека закрыть глаза и поднять одновременно обе руки, я, не забывая дедушку, который умер не в своей постели, была готова внимательно следить за речью своего возлюбленного, чтобы не пропустить

момент, когда он начнѐт растягивать слова и терять нить разговора.

Могла ли я подумать, что эти драгоценные знания мне действительно пригодятся, но применительно совершенно не к Яцеку.

Тем временем из Форт-Лодердейла к Карибам отправился круизный корабль, и я следила за его движением между небоскрѐбами, рассекающими океанскую синь справа от наших благословенных Солнечных островов.

Кофе был выпит до последней скрипящей на зубах капли. Я встала с кресла, поблагодарила Яцека и покинула балкон. Яцек быстро провѐл меня через гостиную к выходу из квартиры.

После океанского ветерка воздух в комнате показался совсем уж затхло-цветочным, хотя и слегка разбавленным кофейным ароматом. Мой теоретический любовник проводил меня до лифта и нежно попрощался, чмокнув в щѐчку.

С его пятнадцатого на мой шестнадцатый этаж я поднялась мгновенно и, не теряя темпа, добежала до квартиры, а там прямиком до холодильника. Давясь от смеха, я тщательно намазала на хлеб тонкий слой масла и сверху в два слоя уложила кружочки докторской колбасы, которую обычно не ем и покупаю в русском магазине только для Дусика. Бутерброд был съеден с наслаждением, за упокой душ бабушки и дедушки, который умер не в своей постели.

1604. ДУСИК. Теория. Ключи

У меня есть теория, которая всѐ объясняет. Эту теорию я не придумывал, она сама ко мне пришла, а вслед за нею стало приходить всѐ остальное. Ключи. Квартиры. Друзья. Вика.

Первый ключ достался, как с потолка упал. Он лежал на ковре в коридоре рядышком с 1607, почти

сливаясь с узором из жѐлтых ромбиков на красно-рыжем ворсе. Лежал и шептал вкрадчивым латунным блеском: возьми меня, я пригожусь, я волшебный, я открываю не только двери.

Если бы не теория, даже бы не нагнулся. А с теорией и нагнулся, и подхватил. Ключик приятно холодил горячую ладонь.

По теории, стучи не стучи, а 1607 должна была быть необитаемой, но я постучал. Как и предполагалось, шагов за дверью я не услышал, дверь не открылась, и я, осторожничая, ушѐл дожидаться полуночи.

Пошлялся по бульвару, вычислил окна 1607. Они были долгосрочно тѐмными и приманивали, и обещали вязкую духоту и сладостную спѐртость необитаемого жилища.

Однако теория требовала проверки, и далеко за полночь я опять стоял перед 1607, тихонько постукивал по двери, не забывая оглядывать коридорные дали, в которых могла мелькнуть любопытная соседская голова. Но только теоретически. Практически дом спал.

Ключ скользнул в замочную скважину и повернулся почти сам по себе, легко и тихо, и так же бесшумно открылась дверь. Особого страха я не испытывал, потому что понимал, что с первым глотком воздуха в 1607 всѐ станет ясно. И стало. В этой квартире, по крайней мере, несколько недель не открывали окна, двери на балкон и не включали кондиционер.

Вот так первый ключик стал подарком судьбы. Я думаю, что на свете немало драгоценных коллекций началось с одного-единственного нечаянного подарка.

В Принстон Тауэр много квартир – примерно четыреста. Сразу же вычитаем те, в которые поселились местные оседлые семьи. Затем убираем квартиры с жильцами, банально проживающими во Флориде старость. Таких довольно много. Среди них есть переселенцы,

навсегда сбежавшие, например, из Канады, Северной Дакоты или студѐного ветреного Чикаго.

Некоторые переселились только наполовину или на три четверти. Это те, которые летом всѐ-таки уезжают туда, откуда приехали. Это уже наши люди, в смысле – мои. Национальность, язык и место рождения их не объединяют. У них есть другие заслуги перед молодым поколением: они хотя бы раз в году отчаливают охладиться в других широтах и внуков с правнуками повидать. И это – очень ценно!

Замечательным фактом по-прежнему остаѐтся то, что некоторые квартиры время от времени выходят на рынок. Риелторы без устали показывают их потенциальным покупателям, как шары в лузу пытаются забить, и, пока шарики взад и вперѐд катаются по гладкому зелѐному полю, ключики от квартир запираются в специальные коробочки, навешанные на входные двери. На коробочках имеются кнопки с цифрами от единицы до ноля. Представитель продавца придумывает невозможно секретный код, а агент покупателя, чтобы квартиру показать якобы будущему владельцу, этот код набирает, коробочка открывается и ключ падает в подставленную ладонь.

Для агента продавца главное – код не забыть. Для этого кто-то изобретает нечто выдающееся, например, год высадки американцев на Луну, кто-то использует последние четыре цифры номера своего мобильника, но есть и большие оригиналы с короткой памятью, вмещающей четыре цифры, начиная с единицы и твѐрдо помнящие, что потом идѐт двойка, за нею – цифра три и логично, что следующая – четвѐрка!

Цифровая изобретательность специалистов по продажам принесла мне ещѐ четыре ключа, вернее, возможность заказать дубликаты по цене доллар девяносто девять центов за экземпляр. Квартиры, в конце концов, нашли своих новых владельцев, из которых хозяева самой

плохонькой – с одной спальней и на низком этаже немедленно поменяли замки, ключи и моѐ отношение к их собственности от заинтересованного к равнодушному.

Ещѐ в одной поселились постоянные майамские жители, что совершенно меня не огорчило, так как разнообразило картину и подтверждало статистику. Две другие были чистый бриллиант и изумруд с хозяевами в Нью-Йорке и Бостоне, наезжающими не более чем на неделю три-четыре раза в году.

Эти замечательные люди совершенно не возражали против моего с ними совместного пользования их собственностью, потому как согласно моей гениальной теории невозможно возражать против того, чего не знаешь.

1604. НИНА. Два урагана

Для меня самое ненавистное слово – любовь.

Этого слова я всегда боялась и избегала, как избегала в детстве ярко-красных петушков на палочке по пять копеек за штуку, предчувствуя приторно-сладкий ядовитый обман. Детская мудрость мне не помогла. Разве могла я предугадать, что такое крошечное событие в моей жизни, как случайное знакомство с пожилым лысым соседом из 1519, перерастѐт в ураган, который подхватит, закрутит, вымотает все нервы и измочаленную, растоптанную, напуганную до полусмерти кинет в инвалидную коляску?

Если уж совсем честно, то ураганов было два. Второй ураган – это мой бывший муж Борис, а может, он был первым? В каком-то смысле – да.

Дусик улетел на каникулы в Нью-Йорк повидаться с отцом. Я очень ждала этого недельного одиночества, предчувствуя, что теперь-то непонятное топтание на месте в отношениях с Яцеком непременно закончится, что-то произойдѐт, и мы либо попытаемся стать любовниками,

либо останемся слегка кивающими друг другу соседями, а может быть, и совершенно чужими и не по-американски невежливыми людьми, при случайной встрече не берущими на себя труд даже встретиться взглядом.

Яцек пришѐл в гости с дюжиной моих любимых роз – Черри Бренди. Он запомнил. Я ведь только один-единственный раз упомянула об этом необыкновенном сорте с изысканной окраской, оранжевой в сердцевине цветка и горяще-бордовой по краю лепестков. И о моѐм любимом шампанском он не забыл, и баночка чѐрной икры появилась на столе как по волшебству.

А то, что было потом, описать невозможно. Яцек оказался изумительным любовником. Я совершенно забыла о нашей разнице в возрасте почти в двадцать лет, о своих опасениях, о дедушке, который умер не в своей постели. Я ничего этого не помнила.

Серебрился чешуйчатой волной залив, тѐплый нежный ветерок лѐгкими вздохами проникал в открытое окно, а Яцек шептал мне в ухо смесь из русских, польских и английских слов.

«Я люблю тебя, сладзутка моя, ай лав ю, кахами си». Я вылетала из окна, парила над заливом, неслась над крышами домов к океану, нежилась в воздушных струях над облаками и летела, и летела, и летела.

В два часа ночи Яцек ушѐл. Он сказал, что спит очень плохо, часто просыпается, а спать не в своей постели не может вовсе. На секунду я огорчилась, но уставшее счастливое тело было таким большим, а недовольные ерундой обе две мозговые извилины такими маленькими, что я немедленно уснула.

К следующему вечеру я готовилась как к большому празднику. В дорогом, для гурманов, фрешмаркете накупила деликатесы: нежный гусиный паштет, ароматные сыры, мягкие и твѐрдые, и особого приготовления утиные ножки. На десерт нам предстояло полакомиться ароматной

клубникой и свежайшей, будто только что собранной с куста, крупной, одна в одну, малиной. А ещѐ я купила большую коробку всевозможных пирожных. Настоящие мужчины, подумала я, а Яцек, несомненно, принадлежал к этому редкому и очень ценному виду, обожают сладкое.

В условленные семь часов вечера Яцек не пришѐл. В восемь я вернула в холодильник паштет и сыр, в один присест, не разжѐвывая, проглотила коробочку малины и позвонила нью-йоркской Наташе. Моѐ удивление по поводу поведения Яцека Наташу изумило. Она считала, что всѐ идѐт по классическому сценарию, что иначе и быть не могло, и запретила звонить едва обретѐнному любовнику.

– Сам объявится, – заверила меня Наташа и опять не обманула.

Яцек постучал в десять вечера, а затем, молча, вошѐл в распахнутую дверь. Я спросила, будет ли он есть, и никаких других вопросов не задала. Развод, всѐ-таки, многому учит. Он выглядел мрачным, уставшим, измочаленным и несвежим настолько, что я сразу же после молчаливого ужина предложила ему принять душ. От Яцека чем-то пахло. К лѐгкому аромату приятного недешѐвого средства после бритья примешивался посторонний запах, смутно напоминающий сложный букет, заставлявший меня много лет назад пробегать подъезд старого московского дома, в котором мы снимали первое наше с Борисом жильѐ, сдерживая дыхание и повыше запрокидывая голову. Подъезд не запирался и был гостеприимен к кошкам и нетрезвым прохожим со слабыми мочевыми пузырями.

Так уж получилось, что в душевой кабинке мы с Яцеком оказались вместе, а затем остатки вчерашнего шампанского допивали, что называется, «на голое тело». Волшебство предыдущей ночи повторилось, повторился и его досрочный побег из моей постели.

Наташе я не звонила следующие три дня, потому что боялась Наташиной версии необъяснимого исчезновения Яцека. Он больше не появлялся и не звонил.

Я металась по квартире и пыталась понять только одно: неужели я, не толстая, без вредных привычек и неплохо выглядящая обеспеченная женщина, не представляю никакой ценности для пожилого мужчины, старше меня на двадцать лет, которому безумно хорошо со мной в постели, о чѐм он много раз в этой же постели мне и признавался? Как можно после всех этих восторгов, нежностей, ласк и сладкого любовного шѐпота уйти и пропасть без объяснений?

– Всѐ очень просто, – сказала мне нью-йоркская Наташа на четвѐртый день, – у него есть другая женщина. А как же иначе? Его жена умерла три года назад, мужчина он, сама говоришь, крепкий, так что же ты думала, что он все эти годы только тебя и ждал? Простаивал? Никогда не поверю. В таком возрасте у старичков в голове счѐтчик работает: отсчитывает, сколько ему ещѐ осталось пребывать в полноценном качестве. Сама подумай – не так уж и много. Ты – женщина молодая, поматросишь и бросишь, а у него есть какая-то постоянная дамочка, сложившиеся отношения, простые и необременительные. В этом всѐ дело.

Я пыталась возражать, и оправдывать его и себя, и совсем запуталась в бесконечных: но он же сам…, он же говорил…, ему же со мной... Наташа от меня устала и попросила позвонить после того, как он опять появится, а затем опять исчезнет. Мой непостоянный возлюбленный действительно проявился в тот день, когда возвращался из Нью-Йорка Дусик.

Яцек позвонил и что-то пробормотал про непредвиденные обстоятельства и предложил встретиться вечером. Я вежливо отказалась.

1604. ДУСИК. По тѐмным аллеям

Во время каникул мне от ежедневного русского чтения не отвертеться, и, прежде чем спустить маму на еѐ кресле на колѐсиках в холл на вечерний променад, так она сама называет своѐ сидение с Беверли под хрустальной люстрой, я читаю маме вслух.

С прошлой недели мы взялись за «Тѐмные аллеи» Бунина. Мама сама выбрала этот сборник рассказов, наверное, с воспитательной целью. Почему мы читаем Бунина – понятно. Мама считает, что каждый интеллигентный человек должен прочитать произведения Нобелевских лауреатов по литературе, а вот почему всѐ-таки эти рассказы о бессовестных мужчинах и обманутых ими молодых дурочках? Я ведь не девчонка, мне эти страсти не грозят. Вот Вике точно нужно почитать «Тѐмные аллеи», может быть, тогда не носила бы такие короткие шорты, да ещѐ наверх завѐрнутые до невозможности.

У российских девчонок своя мода и их сразу отличишь от местных – и не только по чистому, без американских словечек, русскому языку, но и по одежде, и особенно по обуви. Какая наша девчонка припрѐтся на пляж в босоножках на высоченных каблуках? Или кто ещѐ в августе, когда температура за девяносто, напялит бархатные сапоги выше колен, чтобы сходить в кино?

На самом деле Вика мне нравится, она очень клѐвая, и, когда еѐ бабушка нас познакомила и предложила показать Вике, где у нас пинг-понг и где фитнес, я был даже рад. Потом стали в кино ходить, но чаще всего на океан и в Старбакс, но сидеть, несмотря на жару, она хочет только за столиком на улице, чтобы оглядывать тех, кто мимо проходит, и чтобы все видели еѐ, какая она красивая. Вика похожа на кинозвезду из Голливуда, и один раз я ей это сказал. Она была так рада, что развеселилась, и я

понял, что она хочет быть артисткой. Вполне может. Ей шестнадцать, так же как и мне, но учиться в школе она будет ещѐ только один год. В России на десятом классе школа заканчивается. Когда Вику первый раз увидели Вадик и Ричи, у них глаза на лоб полезли. Ещѐ бы: волосы длинные, светлые, фейс как у Барби, только лучше в тысячу раз, фигура – тоненькая, высокая. Они тут же с нами на пляж отправились, позагорать им приспичило, до того, небось, месяц к океану не подходили, а тут и загорать захотелось, и купаться, и в волейбол поиграть, но только я им сразу сказал, чтоб отвалили и не облизывались, а они облизывались, да ещѐ как. Мы пока на пляж шли, они так и норовили от Вики отстать, чтобы она впереди них шла, а они на еѐ попу могли бы любоваться. Это понятно, я и сам бы хотел, но мы с ней вместе ходим, разговариваем, больше чем на пару шагов не отстанешь. Попа у неѐ действительно необыкновенная. Я таких не видел, как будто яблоко разрезали и две половинки рядом сложили, и, когда она идѐт, эти половинки между собой перекликаются, в смысле, по очереди двигаются. В общем, словами объяснить трудно. Эту попу видеть надо. Она маленькая, круглая и выпуклая, и кажется, что на Викины длинные ноги попу сверху приставили, а потом на попу – длинную тонкую талию. Очень красиво, так что ребят, что они прибалдели, понять можно.

А Вика – молодец, держится с ними как принцесса в ссылке, но «Тѐмные аллеи» ей почитать не помешает. Я ей посоветовал, но она на Бунина не возбудилась, может быть, я ей своими словами перескажу. Мне сразу стало понятно, что вести себя с ней нужно как с кузиной, тогда и ходить везде можно вместе и подваливать к ней никто не будет. Она попросила, чтобы мы только по-английски разговаривали, и чтобы я ей ошибки исправлял, так что я для неѐ стал как бы учитель, и мама не возражает, к тому же ей лучше стало, и она даже хочет сама дома оставаться. Я как-то собирался с Викой на пляж, но жара была такая,

что она передумала, и мы решили мячик погонять под кондиционером. Я забежал домой за ракетками и обалдел, мама сама стояла у окна и смотрела на залив, правда, держалась за подоконник, но сама!

Я так обрадовался, что чуть не заплакал. Мы ведь боялись, что она никогда не встанет после еѐ проклятого инсульта. Никогда отца не прощу. Эта сволочь думает, что я не слышал, как он на маму орал и что-то требовал, а я как раз к двери подошѐл, хотел открыть своим ключом, услышал его голос и вначале не хотел им мешать, размечтался, что они помирятся, и, может, отец к нам переедет, чтобы мама не была разведѐнной женщиной, как бы, брошенной и одинокой.

Отец что-то тихо говорил, говорил, а потом как заорѐт и начал еѐ обзывать дурой и паразиткой, и я очень пожалел, что ездил с ним в Орландо. Нужен мне был этот Диснейленд?

А может быть, мама к «Тѐмным аллеям» прикипела из-за этого еѐ дедушки оранжевого? Пока она была здорова, он и возле бассейна к ней подсаживался, и в лобби, а теперь мимо проходит, будто и не знакомы вовсе. Я ей сказал, чтобы она из-за лысого деда не переживала, а подобрала себе кого-нибудь получше, когда выздоровеет. Она пообещала ниже Джорджа Клуни не опускаться.

Это хорошо, что она уже шутит, значит, и ходить сама сможет. Мария тоже обещает, что к Новому году мама будет танцевать, а Мария опытная. У неѐ таких подопечных, парализованных после инсульта, много было, а мама – самая молодая из всех. Мария очень хорошая и такая помощница, как маме нужно. Она весѐлая, быстрая, никогда ни на что не жалуется и правильно за мамой ухаживает.

Плохо, что Вика только на месяц приехала, вот уедет – и начнѐтся скука, особенно поначалу. Я уже сейчас это чувствую и поэтому решил найти себе работу по вечерам, чтобы накопить денег Вике на билет на еѐ зимние

каникулы. В Москве в январе холодрыга, пусть приедет погреться. Жаль только, что у нас каникулы не совпадают, но что-нибудь придумаю, чтобы не всѐ время в школе пропадать, болеют же люди.

Что ещѐ мне нужно, так это избавиться от прозвища своего убогого. Теперь и Вика меня Дусиком называет. Когда знакомились, сказал, что я – Даниэль. Нормальное имя, в крайнем случае, можно Даником называть, так нет, снова – Дусик. И маму просил, и ребятам запретил вплоть до штрафных квартирных санкций. Ничто не помогает.

Если посмотреть на старые фотки, где мне восемь было или десять, то понятно. Кругленький был, как колобочек, а сейчас вообще лишнего веса нет и рост почти шесть футов. Какой же я Дусик? Я твѐрдо решил, что своих детей полным именем буду называть со дня рождения, чтобы потом никто не страдал.

Вика про мои ключиковые возможности ничего не знает. Вадик однажды чуть не проговорился. Прямо при ней стал про вечернее рандеву мосты наводить, но я в сторону ушѐл и позже дал ему по мозгам, чтобы про конфиденс не забывал.

Сама Вика по вечерам с бабушкой сидит, американское телевидение смотрит, в английском языке практикуется. И вообще она сказала, что ей нужна пятѐрка по поведению, чтобы еѐ мама была довольна. Про маму было сказано как бы в шутку, но вечером Вика из дома ни ногой, даже пинг-понг до девяти и точка. Очень она боится, как бы бабушка еѐ маме не нажаловалась.

Как-то раз Ричины родители на Ки-Вест на уикенд уехали, и Ричи нас в гости пригласил, так Вика не пошла, а я очень хотел, чтобы мы вместе потусовались, но она сказала, что для неѐ другие вещи важнее. Я спросил: какие вещи? Так она рассмеялась и сказала, что поскольку мне ещѐ два года школьником быть, то мне еѐ не понять.

Вика вначале со мной очень строго держалась, а теперь как бы потеплела. Иногда за руку берѐт или помочь

просит, когда нужно спину кремом от загара смазать или полотенце возле душа на пляже подержать, и это приятно, сразу видно, что я ей не чужой, и все на нас смотрят, на Вику главным образом, и это понятно. Люди журналы разглядывают, чтобы на красоток поглазеть, а тут в натуральную величину. Мне нравится, когда она тѐмные очки снимает и прямо мне в лицо упирается своими синими глазищами. От этого у меня крыша едет, и я не всѐ понимаю, что она говорит, пару раз даже переспрашивать пришлось. Вика меня что-то спросила и смотрит, а я, как в наушниках, ничего, кроме внутреннего стона, не слышу, а только смотрю и балдею.

Особенно прикольно на неѐ смотреть на пляже ближе к вечеру, когда она лицо под солнце подставляет без очков, чтобы белых кругов вокруг глаз не было. А за спиной – океан, и, если я скажу что-то ей интересное, то она глаза открывает, и они каждый раз точно такого цвета, как океан за еѐ спиной, иногда бывают даже зелѐными, это если облачно и небо фиолетовое.

В остальное время, в смысле, когда Вика не рядом, я придумываю всякие фантазии и вижу еѐ во всех видах, даже жениться на ней собрался лет через десять, разбежалась она меня ждать. Может быть, мама заметила моѐ оглупление и предложила походить в «Тѐмных аллеях», чтобы я увидел, что там бывает?

1604. НИНА. Голливуд

В нашем доме нет тринадцатого этажа. Наверное, это обычно для Америки.

В Нью-Йорке в самом начале мы жили на пятом этаже в старом бруклинском доме, а потом в половине двухэтажного, тоже в Бруклине. Но всѐ это неважно, важно то, что в моѐм браке обошлось без тринадцатого этажа, мы развелись после двенадцатого.

Теперь мне кажется, что двенадцать лет в супружестве пролетели очень быстро, как, впрочем, и

последующие четыре. Мы с Дусиком больше не живѐм в Нью-Йорке. Боря хотел, чтобы мы уехали сразу после развода, и я не сопротивлялась. К тому времени у нас была квартира в Санни Айлс в одной из высоток Принстон Тауэр, облюбованной русскоязычными поселенцами за близость к океану и сравнительно недорогие услуги менеджмента.

Бывший муж покупал квартиру, чтобы пользоваться ею как зимней дачей, а может быть, это была одна из его инвестиций, и вдруг она оказалась очень кстати и для него и для меня. Так что для начала всѐ сложилось просто удачно, а затем неожиданно невероятно удачно. На мою голову упало богатство. Как в сказке или в кино.

Оказалось, что при среднем уровне жизни недавних эмигрантов многого себе не напозволяешь, а вот если этот уровень немного приподнять, так чтобы не особенно было заметно со стороны, потому как не нужно, чтобы такое было заметно чужим, неласковым глазам, жизнь становится другой.

Глаза своего единственного сына Дусика я не причисляю к чужим и неласковым, и, тем не менее, я дала команду гениальной адвокатше Ларисе Гелфант прекратить раскапывать клады мужа, с которым я разводилась, только под его нотариально заверенную расписку о том, что финансовые условия нашего развода являются частной информацией, не подлежащей огласке.

На специальный счѐт были помещены особые сто тысяч долларов, которые вместе с процентами на них должны были быть возвращены Боре или перейти Дусику в наследство в том случае, если с Борисом что-то случится, по достижении Дусиком двадцатипятилетнего возраста. Если же бывший муж не выдержит и кому-либо, в том числе и Дусику, сообщит финансовую сторону развода, то эти сто тысяч немедленно переводятся на мой счѐт, как пострадавшей стороне. Вот такая Лариса гениальная. Если

бы не она, я бы обошлась Бориным честным словом и давно бы об этом пожалела.

В Нью-Йорке мы жили скромной жизнью эмигрантской семьи с работающим мужем и неработающей, но всегда очень занятой женой и мамой. Первые годы Дусик часто болел, и я занималась всем, а профессионально – ничем.

Мой ныне бывший муж Борис работал и занимался конкретным делом. Он строил дома, завязывал деловые знакомства, сближался с нужными людьми и был занят настолько, что у него не было времени на семейную жизнь. Мы с Дусиком боролись с первыми эмигрантскими годами отдельно от Бориса, который мало чего знал о бесконечных болезнях сына, об отличиях американской школы от российской, о моих сражениях с английским языком, который давался мне настолько тяжело, что очень скоро десятилетний Дусик переводил для меня счета за электричество, письма от хозяина нашей квартиры и новости CNN с английского на русский.

Примерно года через два Дусик акклиматизировался, перестал подхватывать вирусы и простуды, начал заниматься в нескольких дополнительных школах: математической, русского языка и шахматной, а я присматривала колледж, в котором собиралась освоить премудрости американской бухгалтерии.

Но тут из России приехала моя свекровь, раздумавшая умереть на Родине, и получила от Америки бесплатную медицинскую страховку, о которой можно только мечтать.

Понятное дело, она немедленно начала болеть и лечиться. Чтобы об американской медицине не говорили, а находить болезни она умеет, поэтому за следующие два года Бориной маме поставили несколько серьѐзных диагнозов, три из которых предполагали оперативное вмешательство. Врачи на операциях не настаивали, но предлагали, а отказывать докторам моя свекровь считала

себя не вправе. Боря поручил мне заниматься мамой, и мой колледж пришлось отложить до полного свекровиного выздоровления. Мы пережили удаления желчного пузыря и катаракты на правом глазу, а также две замены: сердечного клапана и бедра. Боря при этом продолжал развивать бизнес, сменил джинсы, свитера и футболки на элегантные костюмы, редко ужинал дома и часто уезжал в деловые поездки во Флориду и Неваду.

Во время одной из его поездок нас с Дусиком навестила симпатичная девушка, представилась Оксаной и сообщила, что они с Борей ждут ребѐнка. Так началась история моего развода и, если бы не Наташа, с которой я подружилась на курсах английского языка, я бы от растерянности и из юридического невежества быстро бы согласилась на скромные алименты и потрѐпанную мебель, к которой мы привыкли в нашем съѐмном жилище в одном из переулочков Бруклина. Наташа посоветовала взять адвоката. Мне в целях экономии в преддверии тяжѐлых времѐн не хотелось оплачивать дорогие юридические услуги, но Наташа раскомандовалась не на шутку, и я согласилась позвонить молодой адвокатше Ларисе Гелфант, которая подтвердила, что я, как пострадавшая сторона, ничего ей не буду должна.

Так я стала героиней голливудского кино с Бориными истериками, которые были пресечены специальным ордером, запретившим ему приближаться ко мне на определѐнное законом расстояние.

Затем семейная драма переродилась в блокбастер с невероятной информацией, поступавшей от Ларисы, о принадлежащих моей распадающейся семье домах, обширных участках земли и акциях, о которых я понятия не имела, но смутно помнила, что время от времени Боря второпях подсовывал мне на подпись какие-то документы, никогда не объясняя, что они означают.

А Лариса всѐ копала и копала, и тогда пришла бумага от Бориного адвоката, предлагавшего мне

ограничиться двумя миллионами долларов, сыном Даниэлем – по-семейному – Дусиком и квартирой в Принстон Тауэр в Северном Майами. Лариса советовала не останавливаться на достигнутом, но я занервничала, испугалась, что если начну тянуть время, то два миллиона куда-нибудь пропадут и на условиях строжайшей секретности согласилась на предложенные Бориной стороной условия.

Мы с Дусиком переехали во Флориду, я открыла в местном банке счѐт, на который действительно упали почти два миллиона долларов. Я собиралась держать их на срочном вкладе и роскошно жить на проценты и положенные Дусику ежемесячные чеки от отца, но неугомонная Наташа посоветовала мне не быть дурой, а накупить недвижимость, которая, как она уверяла, и на тот момент не ошиблась, только дорожает. Я наняла агента по недвижимости и с его помощью купила в нашем доме ещѐ одну квартиру – просторную, с тремя спальнями и фантастическим видом на Бискейн Бэй и океан, – в которой мы теперь с Дусиком и живѐм. Затем я стала владелицей нескольких квартир в дорогих небоскрѐбах, стоящих на берегу океана и прекрасно сдающихся за высокую месячную оплату. Ну, чем не Голливуд?

А тем, что только в Голливуде хеппи-эндом всѐ заканчивается, а в жизни вслед за счастливым концом много чего происходит и хорошего, и совсем другого.

1604. НИНА. Шарфик от Гермеса

Моя бабушка часто говорила, что когда всѐ хорошо – это плохо, а когда очень хорошо – то так плохо, что жди беды.

Она спокойно и даже с радостью принимала от жизни всевозможные мелкие неприятности, так как была уверена, что ими откупается от больших бед.

– Вот и хорошо, – говорила она, когда наш старенький холодильник ломался в самую жару, – с этим

мы справимся. – Испортившиеся продукты выбрасывались, холодильник покупали новый, и жизнь продолжалась с небольшими изменениями к лучшему.

Как-то раз на рынке у неѐ из сумки вытащили на кошелѐк. Она вернулась домой без продуктов и без денег. Мама очень расстроилась, а бабушка за ужином открыла бутылку своей любимой «Лидии» и даже мне, десятилетней, налила несколько капель, празднуя мелкую неприятность, благодаря которой, как она была уверена, избежала чего-то непоправимо плохого.

Тогда мама посмеивалась над бабушкиным примитивным суеверием, а теперь, много лет спустя, я стою у окна, вцепившись в подоконник правой здоровой рукой, смотрю на ребристую синь залива, пересечѐнную атласными полосами абсолютно неподвижной воды, то широкими, то узкими, неизвестно почему возникающими под безоблачным белѐсо-голубым небом, и думаю о том, как безуспешно бабушка пыталась предупредить нас с мамой. Бабуля хотела соломку подстелить под наши глупые задницы, но, как видно, такой идиотке, как я, нужно самой полетать над заливом, вибрируя крылышками от счастья, а потом рухнуть на бетонную крышу гаража и разбиться на маленькие кусочки, чтобы вспомнить бабушкину радость по поводу украденного кошелька с двадцатью рублями и сладкий одеколонный привкус Лидии на языке, опустившийся в горло горячим компрессом.

Борис заранее договорился с Дусиком о поездке в Орландо на длинный праздничный уикенд на День Памяти. Меня их планы абсолютно устраивали. Потому что мы с Яцеком вошли в безоблачный период нежной дружбы и с нетерпением ждали, когда же Дусик уедет с папашей в Диснейленд, чтобы проводить время в моей квартире не менее увлекательно.

Борис прилетел из Нью-Йорка утренним рейсом, в аэропорту взял напрокат машину, позвонил мне и

попросил разрешения не просто подхватить Дусика у дома, а зайти к нам с визитом. Я разрешила и поначалу похвалила себя за толерантность к бывшему мужу и врагу.

Борис явился с подарками, причѐм не только для Дусика, онемевшего от счастья с новеньким i-Podom в руках. Я тоже была одарена скромным шарфиком от Гермеса, и это показалось мне знаком полного забвения предразводных боев и имени моей адвокатши. Борис был очень дружелюбен, весел и как-то забыто родственен. Он похвалил меня за покупку новой просторной квартиры, отличный ремонт и элегантную обстановку, восхищался видом на залив и океан.

Наша первая квартира в Принстон Тауэр, купленная ещѐ Борисом, выходила на другую сторону, и окна упирались в соседний дом. Океан просматривался под углом, а залива с его лазурным простором, белыми яхтами, катерами и завораживающим ожерельем огней по берегам в ночное время, и вовсе не существовало. Переехав в квартиру этажом ниже и по другую сторону коридора, я ощущала себя уехавшей совершенно в другой район, с иным, более прохладным климатом, с воздухом, насыщенным энергетикой водного простора и умиротворением, втекающим через раскрытые окна и распахнутую балконную дверь.

Дусик с отцом отправились развлекаться самым американским способом, а я осталась готовиться к вечернему свиданию с Яцеком. Мне не хотелось, чтобы это было просто пошлой ситуацией, в которой мамаша сбагривает ребѐнка бывшему мужу и на свободе загуливает на полную катушку. Я хотела романтики и получила еѐ именно так, как мне мечталось. Вначале мы поехали в райский уголок под названием Water Gate с прогулочной дорожкой вдоль канала и пришвартованными к берегу яхтами, одна прекраснее другой. Они были не огромными, а напротив – компактными, изящными, многие с крышами из выгнутого пузырьком стекла.

Казалось, что огромные стрекозы улеглись на бочок, едва уместившись на белоснежной корме, и наблюдают в отдохновении за проплывающими в вечернем небе облаками.

Несмотря на то, что в холодильнике у меня было припасено достаточно еды для изысканной трапезы, я не отказалась от предложения Яцека там же, на берегу канала, поужинать на уютной террасе великолепного рыбного ресторана.

Блюда были выше всяких похвал, но, возможно, я не избалована высокой ресторанной кухней. На закуску мы ели мидии в белом вине с травами и специями. Мне казалось, что я более не смогу проглотить ни кусочка, но принесли целиком запечѐнного морского окуня, которого захотелось хотя бы попробовать. Под красной хрустящей корочкой оказалась нежная, истекающая пряным соком мякоть, и я, как ненасытная обжора, продолжала еѐ смаковать, отведывать каждый раз по-другому: то охлаждая обжигающе горячий кусочек несколькими каплями лимона, то немедленно запивая кисловатым шардоне, то макая в масляно-чесночный соус, поданный вместе с рыбой, то заворачивая отделѐнную от позвоночника и костей молочно-белую мякоть в красную хрустящую кожицу.

От слова «десерт» мне стало тяжело дышать, и после ужина Яцек минут двадцать выгуливал меня вдоль шеренги осуществлѐнных мечтаний моряков-любителей. Я удивлялась, что накануне длинного уикенда они все ещѐ стоят на приколе, но потом вспомнила ту бесконечную цепь белых корабликов, которые с раннего утра проплывают к выходу в океан, а вечером движутся в обратном направлении. Мне стало радостно, что я увидела место, в котором они постоянно живут, как будто познакомилась с ними поближе.

К тому времени я перестала делиться с нью-йоркской Наташей подробностями и сложностями

присутствия Яцека в моей жизни. Мне больше не хотелось жаловаться на его непонятные исчезновения, на поступки, которые я не могла объяснить ни себе, ни подруге. Мне не хотелось более описывать его поведение, не соответствующее общепринятым представлениями о том, как должен вести себя мужчина по отношению к женщине, к которой он относится, по крайней мере, с интересом, даже если не принимать всерьѐз его признания в любви, слова восхищения и изумления перед счастьем, выпавшем нежданно-негаданно и незаслуженно на его долю на старости лет. Мы с Наташей стали реже перезваниваться, а разговоры носили чисто интеллектуальный характер: обмен мнениями о фильмах и книгах. Мы по-прежнему пересылали друг другу интересную интернетовскую информацию, но прежней душевной откровенности с моей стороны больше не было, что не давало ей теперь повода тыкать меня носом в мою наивность и низкую самооценку.

Мне не хотелось, да и невозможно было, описывать Наташе его нежность и страсть, его объятья и поцелуи, милые словечки, опьяняющие признания, его руки, прижимающие меня крепко и осторожно, его умение довести меня до состояния наслаждения настолько острого, что казалось, что оно и длиться более не может, и невозможно, чтобы оно прекратилось, потому что любое иное существование будет похоже на исчезновение самой жизни, за которую я хваталась, прижимаясь к нему всей поверхностью своего жадного тела, одновременно грудью и спиной, животом и попой, губами и затылком. Наверное, это было сродни наркотическому опьянению, за которое цепляешься не только потому, что оно невыразимо приятно, но и потому, что ощущение полѐта, удовольствия и животной радости несовместимо с существованием даже самой маленькой здравой мысли в голове.

В первые две ночи Яцек уходил от меня в середине ночи, но в последнюю остался до утра, и мы всю ночь не спали, пили шампанское, болтали, ласкали друг друга, как

вырвавшиеся на простор любви узники сексуальной несвободы, и я была счастлива настолько, что совершенно не задумывалась о наступающем дне, а он уже давал о себе знать, размывая ночную синь белѐсой серостью.

Яцек ушѐл, вернее, начал уходить в начале шестого, но вновь и вновь возвращался от дверей, обнимал, меленько общеловывал виски, шею, губы. Опять шептал польские нежности и русско-польско-английскую смешную любовную смесь, и я сама решительно отправила его отдыхать, вдруг вспомнив про его возраст, бессонную ночь и своего дедушку, который умер не в своей постели.

Мне же спать совершенно не хотелось, и я занялась уборкой, чтобы к возвращению Дусика квартира выглядела аккуратной и добропорядочной, как он привык. Я постирала простыни, полотенца, свою одежду, верхнюю и нижнюю, и внешне в квартире ничто более не намекало на два дня и три ночи, о которых никому не расскажешь, а только улыбнѐшься, заметив в зеркале румянец на щеках, до сих пор горящих от мужской суточной небритости.

Галина Комаровская *окончила Ленинградский институт киноинженеров, жила и работала в Ташкенте и Москве и уже почти двадцать лет – жительница Бостона. В качестве сценариста принимала участие в создании нескольких фильмов в СССР. В США известна как драматург и писатель. Галина Комаровская - ведущая популярной еженедельной передачи Бостонского радио и сотрудница журнала «Бостон. Русский бюллетень».*

МАРК ВЕЙЦМАН

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Из новых стихов

Коловращение
Делишек суетных,
Предощущение
Зловещих сумерек,
Невозвращение
К теплу домашнему
И отвращение
К себе вчерашнему.

***

Гимнастку вне дощатого помоста
Понять и полюбить совсем не просто,
Из прочных сотворѐнную костей
И мускулов, и гибких сочленений,
Надѐжный детонатор вожделений,
Не связанных с рождением детей.

Но девам, пламенеющим, как розы,
Расчѐтливо дозирующим позы,
Рассеянно жующим шоколад,
Я б эту предпочѐл как раз гимнастку,
Еѐ неприхотливую оснастку,
Еѐ фосфоресцирующий взгляд.

И, будучи моложе лет на сорок,
Страстей неизрасходованный порох
Немедленно пустил бы в оборот,
Обулся в югославские щиблеты,
Добыл на Ободзинского билеты,
Надраил эполеты и – вперѐд!

***
На лавочке пустой
В посѐлке Беэр-Яков -
Зачитанный Толстой,
Истрѐпанный Булгаков.

Их выставили вон:
Бери, кто посмелее!

...Малиновый трезвон.
Тенистые аллеи.
Свечение небес.
Надѐжная структура.
Скопление словес.
Балласт. Макулатура.

***
Законы сочиняет фарисей,
И пешки, превращѐнные в ферзей,
Народу кислород перекрывают.
Но смерть ещѐ лютует не везде,
И дети кувыркаются в воде,
И девы от любви обалдевают.

Не всѐ ещѐ потеряно, пока
Страстями фаршируется строка
И могут уживаться в икебане
Клык мамонта и аленький цветок,
Космическая станция "Восток"
И веничек берѐзовый для бани.

И чудом дотянувший до седин
Весьма своеобычный господин,
Сонеты почитающий и стансы
Поэта Сумарокова, в ответ

На хамское: "Куда ты прѐшься, дед?!" –
Учтиво улыбается: "На танцы".

***

Костлявой стоит заартачиться
Или замешкаться слегка –
И сердце радо озадачиться,
Чем дни наполнить и века.

И тело дышит всеми порами,
Благославляя статус-кво,
И взгляд прельщается опорами –
Вцепиться, ежели чего...

***

Когда вернѐт мне чудо-врач
К свершениям готовность,
Тогда видавший виды мяч,
Как встарь, надую ртом я.

А ты, умерив пальцев дрожь,
Но не смутясь нимало,
Мне крепко голову сожмѐшь
Как некогда сжимала.

Поможем списанной в тираж
Метафоре творенья
Впасть в ностальгический кураж
От самоповторенья,

Взлететь над берегом нагим
В буквальном смысле слова,
Теплом наполнившись тугим
Дыхания живого.

***
Мой внук в своѐм спортивном снаряжении
Способен поразить воображение.

А я, когда тряпичный мяч гонял,
Ничьѐ воображенье не пленял.

И всѐ же, от наследника в отличие,
Азарта демонстрировал наличие
И мог почти всегда, когда хотел,
Защитника оставить не у дел.

Конфликт меж содержанием и формою,
Спасибо за досаду плодотворную,
За память об исчезнувшей стране,
За лиру, что останется при мне!

Бейт-Кнесет в Йом-Кипур
Ни зависти, ни ревности,
Покорность в каждом жесте,
Отсутствие потребности
В еде, питье и сексе.

Ужель возможно выделить
Из этого раствора
Мошенника, грабителя,
Насильника и вора?

В такие дни осенние,
В тисках суровой даты,
Считай, почти что все они,
Как праведники, святы.

Травою гнутся-стелятся
Очиститься в надежде,

Чтоб, выйдя, снова сделаться
Такими же, как прежде.

Прощание
Сгущались потѐмки,
Сутулились плечи,
Нуждались потомки
В напутственной речи.

Но речи не вышло –
Одними губами
Шепнула чуть слышно:
"Не будьте жлобами..."

***
Амазонка с рабочей окраины,
Сгусток света и тайны, –
Ты подарок народу Израиля
От народа Украйны.

Чтоб юнцы, уподобивши голос твой
Сладкозвучной свирели,
Восхищенно хватались за головы
И от страсти зверели.

А постарше которые – цокали
Языками украдкой,
А надѐжно скреплѐнные с цоколем
Утешались догадкой,

Что когда-нибудь буря уляжется
Этих действий сумбурных
И радушия знаком окажется
Или связей культурных.

***
Во избежанье нагоняев
И чтоб в толпе не быть едину,
Живи, команду выполняя:
"Равнение на середину!"

Зане от нормы отступленья
Трактуются как преступленья,
А горделивый взгляд героя
Таит затравленность изгоя.

Презренье к крайностям присуще
И графу, и простолюдину.
Уймись, татарник вездесущий!
Равнение на середину!

Будь поумеренней, взрывная
Волна, срывающая крышу!
Цфира*! Не вой как неродная!
На ЧТО равнение?
Не слышу!

** сирена (ивр.)*

***
Когда утратил смысл мой резус-фактор,
А личностный – заметно подустал,
И внутренний бунтующий редактор
Идти на компромиссы перестал,
И силу набирающее МОЖНО
Расправилось с опасливым НЕЛЬЗЯ,
Я вырулил на трассу бестревожно
И ринулся вперѐд, не тормозя.

Последствия подобных поворотов
Читателю легко предугадать.

В авариях зачатым идиотам
Я нынче не могу не сострадать.
По поводу костей и сочленений –
Не будем... Но, Поэзия, прости,
Что даже и собранье сочинений
До толку мне теперь не довести!

Марк Вейцман *родился и вырос в Киеве. Окончил физико-математический факультет Черкасского пединститута и Литинститут им.Горького. Преподавал физику.*

В 1966 году его стихотворная подборка, подвёрстанная к "Бабьему яру" Анатолия Кузнецова, была опубликована в журнале "Юность". С этого момента он и начинает отсчѐт своих литературных занятий.

Вейцман – поэт, прозаик, эссеист. Автор 13 стихотворных книг (в том числе для детей и подростков), увидевших свет в Москве, Киеве и Иерусалиме, и многочисленных журнальных публикаций. Лауреат нескольких литературных премий.

Член Федерации писателей Израиля, куда репатриировался в 1996 году, и Международного ПЕН-центра.

Книга Марка Вейцмана "Следы пребывания" удостоена премии русскоязычного Союза писателей Израиля им. Давида Самойлова как лучшая поэтическая книга 2012-го года на русском языке.

ВАЛЕРИЙ БОЧКОВ

ХАРОН

Отрывок из романа, который испугались печатать в России

Продолжение

В прошлом номере 2(34) мы опубликовали первую главу из нового произведения живущего в США писателя, лауреата Русской премии Валерия Бочкова с таким подзаголовком: "Отрывок из романа, который испугались печатать в России". Остро-детективное повествование с элементами антиутопии имеет прямое отношение к России и ее лидеру, поэтому понятна реакция издателей.

После выхода номера в свет раздались звонки читателей, пришло несколько писем с просьбой продолжить публикацию романа, весьма их заинтересовавшего. Выполняя просьбу подписчиков "Времени и места", выносим на суд читателей новый отрывок из романа.

Любая миссия состоит из трѐх фаз: планирование, подготовка и сама операция. Первая фаза подходила к финалу, я уже составлял список амуниции, оборудования и транспорта. Анна морщилась от восьмизначных цифр, – только один Сикорский RQ-170 с антирадарной системой, бесшумным винтом и холодным выхлопом стоил сорок миллионов.

– Я не думала, что захват власти в одной стране влетит мне в такую копейку.

– Ещѐ не поздно одуматься, ваше высочество, – ухмылялся я. – Ещѐ не поздно.

– Поздно, ох поздно!

Она махала рукой. Я переходил к следующему пункту списка.

В пятницу утром Анна привезла мой российский паспорт.

Потѐртый, словно кто-то долго носил его в заднем кармане, документ имел вполне убедительный вид. Впрочем, фальшивым он был только юридически, с фактической стороны всѐ было безупречно: мои русские фамилия-имя-отчество, год и место рождения, фотография. Я начал листать – оказалось, что я въехал в США в апреле, о чѐм свидетельствовал штемпель пограничной службы аэропорта имени Кеннеди города Нью-Йорка. До этого я посетил Мадрид и Афины. Моя Шенгенская виза заканчивалась в декабре.

– Ну как? – спросила Анна.

– Очень даже! Мне уже начинает казаться, что я и вправду был в Мадриде.

– В воскресенье утром мы улетаем, – сказала она. – Если какие-то дела по усадьбе… – она кивнула в сторону окна.

Я застыл с раскрытым паспортом в руке.

– Но ведь ещѐ не… – проблеял я, пытаясь собраться с мыслями. – Ещѐ ведь…

– На острове! Доделаем всѐ там. Операция назначена на середину августа.

– Августа?! Кем?! – почти вскричал я.

– Мной!

Я, готовый взорваться, звонко шлѐпнул паспорт на стол. Анна быстро выставила ладонь.

– Не психуй! Твоя акция – лишь часть большой операции. Мало ликвидировать Тихого, важно взять власть. И не просто взять, а сделать это ювелирно – нежно и аккуратно. Без резни. Без разъярѐнных толп на баррикадах, как в Хохляндии.

– Отлично! – я пнул стул, сел, скрестив руки на груди. – Просто замечательно!

– Чем опять не доволен?

– Я? Да я просто счастлив! Сначала ты меня втравливаешь в организацию политического убийства, а теперь оказывается, что я участвую какой-то сраной революции!

Я замолчал, отвернулся к стене. У этой стервы хватило наглости подойти, положить мне руку на плечо и ласково сказать:

– Какая разница? У тебя в любом случае не было выхода.

Тут она была права.

– Насколько твои… – я хмыкнул, – коллеги посвящены в мой, вернее – наш, план?

Анна отвела глаза, уклончиво пожала плечом. Я сказал:

– Мне бы очень не хотелось чтобы нас, вернее – меня, встречали там на даче чеченские койоты или как их там. Стар я для таких приключений, понимаешь?

– Деталей не знает никто. Никто. Им известно только время…

– …и место, – усмехнулся я. – Слава Богу, теперь я спокоен.

Мы помолчали, не глядя друг на друга. Потом Анна сказала:

– Да, вот ещѐ… Пожалуйста, если будешь отлучаться в город или ещѐ куда, телефон с собой бери. В карман положи и не вытаскивай. Пожалуйста.

– А если у меня встреча, предположим, интимного характера? Штаны, допустим, придѐтся снять? – спросил паясничая.

– Снимай, только далеко от штанов не уходи. Договорились?

Библиотека по субботам была открыта. С девяти до двух. Я загнал джип на стоянку. Заглушил мотор, вынул мобильник из кармана и, не глядя, бросил через плечо на заднее сиденье.

В читальне вовсю пахло сдобными булками. Мисс Мак-Кой простодушно обрадовалась мне, зарделась и попыталась вежливо отделаться от настырной старушки с плоским затылком и тугой фигой на макушке – та требовала от неѐ какую-то книгу по истории балета.

Я, галантно кланяясь и разводя руками, извинялся и умолял не обращать на меня никакого внимания. Старушка тоже начала извиняться, в результате после ряда ужимок мне удалось завладеть телефонным аппаратом и отправить мисс Мак-Кой с бабушкой в библиотечные дебри на поиски балетной книги. Для меня оказалось сюрпризом, что я могу производить столь благоприятное впечатление на пожилых женщин и работниц учреждений культуры.

Харрис ответила сразу.

– Мистер Саммерс?

– Добрый день, мисс Харрис. Как дела?

– Нормально. Как у вас?

– Отлично. Тут у нас планы прояснились. Похоже, я буду в Москве где-то в середине августа.

– Я говорила с человеком в Москве. Она в курсе.

– Она? – непроизвольно спросил я.

– Да, Джиллиан. Она поможет вам выбраться. Запоминайте телефон, – Харрис медленно продиктовала номер, потом повторила ещѐ раз.

– Запомнили?

Цифры, которые могли спасти мне жизнь, я запоминал без труда. Мне хотелось сказать Харрис, насколько я ей благодарен, что она сделала гораздо больше, чем я мог рассчитывать, что, если я вернусь, то тогда непременно… Вместо этого я пробормотал «спасибо» и нажал отбой.

Библиотекарша и старушка кудахтали где-то среди лабиринта книжных полок.

Я вышел, утро превратилось в знойный полдень, воздух казался липким от приторного жасминного духа. Из

открытого окна моей машины доносилось противное пиликанье. Я протиснулся в окно, дотянулся до телефона:

– Говорите, вас слушают.

– Я не ожидала такой любви к литературе от человека твоей профессии, – насмешливо сказала Анна.

— Моей профессии? – еѐ шутка задела меня. – А вам известно, что в Морской академии нам преподавали античную литературу? Что я читаю Гѐте в подлиннике? Что мой реферат по Ницше был признан лучшим на курсе? И вообще, мы, наѐмные убийцы, на самом деле натуры тонких чувств и хрупкой душевной организации, тяготеем к изящным искусствам, особенно, к поэзии, – без паузы я начал декламировать нараспев:

О смуглый мой лебедь, в чьем озере дремлют
кувшинки саэт, и закаты, и звезды,
и рыжая пена гвоздик под крылами
поит ароматом осенние гнезда.
Никто не вдохнѐт в тебя жизнь…

– Никто, никто! – перебила Анна. – Хорош трепаться! Планы изменились, вылетаем сегодня. Через час я пришлю за тобой машину.

Я сунул мобильник в карман.

– Вот и всѐ… – непонятно кому сказал я.

Где-то залаяла собака, потом всѐ стихло. Надо мной пролетела горлица, было слышно, как крылья рассекают воздух. Дорога от библиотеки шла под гору, петляя, терялась в дубовой роще. На дальнем холме паслись три печальных коровы, дальше темнел амбар, старый и кособокий, с просевшей крышей и распахнутыми настежь чѐрными воротами. За холмом блестела река, которую я мысленно называл «моей рекой» и которая текла мимо дома, который я называл «моим домом».

– Вот и всѐ, – повторил я.

Аэропорт Берлингтона по статусу считается международным, а по виду – захолустный вокзал. Шофѐр,

заехавший за мной (увы, не на «бентли», а на скромном «ауди»), сказал, что мой билет у стойки «Чартерные рейсы». Сонная девица с подведѐнными чѐрными глазами равнодушно потыкала в клавиши, молча выдала мне какую-то бумажку, похожую на квитанцию из химчистки.

– Куда дальше? – спросил я.

– Эскалатор там, – девица мотнула головой влево.

Я вложил бумажку в свой липовый паспорт и пошѐл в сторону эскалатора. На втором этаже офицер пограничной службы по фамилии Скотт — я прочѐл на его бляхе, долго разглядывал мой паспорт, изучал разноцветные штампы и визы, потом строго спросил:

— Цель пребывания в США?

Я уже приготовился что-то красиво соврать, но вдруг понял, что ведь я – иностранец.

– Извините? – с предположительно славянским акцентом переспросил я его.

— Зачем… вы… приехали… в США? – терпеливо повторил офицер Скотт.

– Туризм, – ответил я. – Туризм и путешествия.

Очевидно, Скотту я не понравился, но он всѐ-таки клацнул своим штемпелем и хмуро протянул мне паспорт. Я прошѐл через турникет и покинул Америку.

– Вот это я понимаю – путешествовать налегке! – Анна пнула хищным остроносым сапогом мою дорожную сумку. – Ну как ощущения?

Она кивнула на паспортный контроль.

– Уже неодолимо хочется водки и в баню, – буркнул я, засовывая паспорт в задний карман.

– Бани на борту нет, а вот водки – залейся. Да, – как бы между прочим добавила она. – Приятеля твоего, Бузотти, пристрелили. Час назад?

– Тони? — я опешил. – Кто?

– Какой-то исламист. Прямо во время интервью в книжном магазине. В Нью-Йорке. – Анна тронула меня за локоть. – Пошли. У нас вылет через семь минут.

Мы спустились вниз, погрузились в обшарпанный автобус, шофѐр закрыл дверь и мы плавно покатили по аэродрому. Кроме нас, в салоне не было никого. Я бросил сумку на продавленное сиденье, сел, засунул руки в карманы куртки. На грязном резиновом полу валялся оброненный доллар, смятая зелѐная бумажка. Тони Бузотти.., надо же – пройти сквозь ад всех этих Дерьмостанов и дать себя подстрелить в каком-то «Барнс-знд-Нобелс» где-нибудь на углу Бродвея и Пятьдесят пятой. Надо же...

Анна устроилась напротив. Зевнула, скрестив ноги, вытянула их в проход. Сапоги на ней были из чешуйчатой изумрудной кожи, которая мне смутно что-то напоминала.

– Игуана, – словно прочитав мои мысли сказала Анна. – Кстати, я чуть было не обратилась к Бузотти. Вместо тебя. Забавно, да?

Она усмехнулась. Я продолжал разглядывать еѐ сапоги.

– О! Гляди, доллар! – Анна наклонилась, подняла бумажку и сунула в карман.

Автобус, сделав плавный вираж, затормозил. Двери зашипели и раскрылись. Перед реактивным «Гольфстримом», изумительно белым, словно выточенным из фарфора, выстроился экипаж – два красавца-пилота и голенастая стюардесса с лицом румяной дуры. На всех троих была какая-то цирковая униформа малинового цвета, щедро декорированная золотым шитьѐм.

– Юдашкин! – гордо сказала Анна.

– Да я уж вижу, что не Ральф Лорен.

Она проигнорировала мой сарказм, обратилась к одному из пилотов.

– Как погода, Серѐжа?

– Над всей Атлантикой безоблачное небо, Анна Кирилловна! – радостно доложил пилот Серѐжа и, прищѐлкнув каблуками, лихо отдал честь.

Я подумал, что в следующей жизни мне тоже надо будет устроиться вот таким вот ярмарочным лѐтчиком, развесѐлым чертякой в золотых аксельбантах, а не шастать по странам с мерзким климатом, подставляя свою задницу под пули религиозных экстремистов. В следующей жизни...

– Как аппарат? – она кивнула на лайнер.

– Супер, Анна Кирилловна! Зверь!

– Я весной купила этот, – пояснила она мне. – До этого у меня был «сотый», он по прямой через океан не дотягивал, приходилось пилить через Гренландию, с дозаправкой в Гантере. Сплошной геморрой, короче.

– Да, это, конечно, тяжело.

– И ты представляешь, на эти, новые «Гольфы» – очередь! Как на «жигули» в совке!

– Любопытно, – я сделал круглые глаза, и добавил. – И откуда у людей столько денег?

Она чуть заметно покачала головой, с укором поджала губы и отвернулась от меня.

– Серѐжа, над нашими островами можно будет пониже пройтись? Хочу гостю показать, – мотнула головой в мою сторону. – С высоты птичьего, так сказать.

– Будет сделано, Анна Кирилловна! – ряженый чертяка снова прищѐлкнул, потом, церемонно выставив руку, пригласил. – Прошу на борт!

...Я проснулся от немилосердно яркого света – в иллюминатор с лазерной точностью бил солнечный луч, само светило с угрожающей торжественностью выплывало из-за кривого горизонта. Очень хотелось пить, от водки и икры во рту было сухо и горько. Мы едва оторвались от земли, как Анне взбрело в голову отпраздновать «возвращение блудного сына на родину». Тот факт, что мы направляемся не в Россию, а в Хорватию, еѐ не очень беспокоило. Она потребовала, чтобы я выпил «штрафную». Я не стал отнекиваться, хотя «штрафной»

оказался здоровенный фужер, в который влезла треть бутылки.

Стрелка моих часов подбиралась к одиннадцати, значит, в Европе было около пяти, уже наступало утро.

В проходе торчала нога в игуановом сапоге, сама будущая императрица всея Руси томно храпела, запрокинув голову и по-покойницки раскрыв рот. Я вылез из кресла, побрѐл в туалет. Санузел напоминал стильный бар в каком-нибудь Стокгольме – потолок мутно горел голубым светом, железки сияли тусклой сталью, на стенах орнамент под зебру. Я пригляделся, провѐл рукой по стене – стены сортира действительно были обиты шкурой зебры. Над рукомойником торчала куцая труба, похожая на ствол помпового «ремингтона». В поисках крана я начал ощупывать стену, из трубы неожиданно полилась вода. Вода шла горячая, почти кипяток. Я подставил руки, нагнулся, сполоснул лицо. Потом безуспешно пытался найти полотенце, плюнув, вытер лицо туалетной бумагой. Откуда-то с потолка доносился вальс, что-то приторное, вроде Чайковского.

Анна продолжала храпеть, я тихо пробрался мимо и улѐгся в своѐм кресле. Потыкал в кнопки на подлокотнике, мои ноги медленно поднялись, потом включился массажѐр. Механические пальцы принялись нежно мять поясницу. Ко мне бесшумно прокралась стюардесса.

– Желаете что-нибудь? – еле слышно выдохнула она, тараща на меня кукольные глаза серого цвета.

– Желаю воды, – прошептал я.

– «Перье» или «Сан-Пелегрино»?

– А в чѐм разница? – чуть опешив, спросил я.

– У «Перье» пузырики побольше… – интимно ответила стюардесса и отчего-то зарумянилась.

– Вас как зовут? – ласково произнѐс я, словно беседовал с ребѐнком.

– Наташа...

– Наташа… – повторил я и улыбнулся. – Несите «Перье». С пузырiками.

Я был несправедлив к Наташе, она оказалась вполне сообразительной девахой – принесла сразу литровую бутылку минералки и стакан со льдом. Я наполнил стакан до краѐв и залпом выпил.

– Где мы? – спросил я.

– Над Атлантикой. Через сорок минут будем пролетать Гибралтар.

На подлѐте к Италии пробудилась Анна. Сиплая и злая, она сразу потребовала воды, кофе и пепельницу. Закурила, раскрыла ноутбук. Сделала несколько звонков, называла какие-то цифры, какие-то проценты, вполне серьѐзно пообещала кому-то оторвать яйца, «если положение не исправится через двадцать четыре часа».

Я прижал лоб к стеклу иллюминатора. Внизу проплывало Средиземное море, изумительно бирюзовое, с миниатюрными волнами и крошечными круизными лайнерами, за которыми в кильватере тянулся тѐмный, как шрам, след.

– Анна Кирилловна, доброе утро! – радостно заговорили динамики голосом пилота Серѐжи. — Святац через пять минут, опущусь на минимально допустимую!

Я не знаю, какая у них минимально допустимая, но через пять минут я не только отлично разглядел остров, напоминавший по форме лошадиный череп, мне удалось рассмотреть песчаный пляж с пенистой лентой прибоя, пристань с пришвартованной яхтой и дюжиной мелких лодок, рыжую черепичную крышу, несколько домиков поменьше, но главное, – на другом конце острова я увидел вертолѐтную площадку, а за ней корабельные контейнеры, уже расставленные в соответствии с дачным планом Тихого: главное здание, два гостевых флигеля, гараж, хозяйственный корпус, дом охраны и дом прислуги.

– Бол даѐт добро на посадку. Садимся в Браче через двенадцать минут. Прошу всех пристегнуться.

Брач тоже оказался островом, только гораздо больше нашего, Серѐжа сделал пижонский пируэт, облетев его и гася скорость. Сверху аэродром был совсем крошечным, с куцей взлѐтно-посадочной полосой и диспетчерской вышкой, похожей на пожарную каланчу, убогим зданием вокзала и двумя антикварными «илами» компании «Хорватские авиалинии», ожидавшими взлѐта на рулѐжке. Аэропорт притулился на горном плато, взлѐтная полоса заканчивалась вертикальным обрывом, уходящим в море. Серѐжа включил форсаж, движки мощно запели на три тона выше, «Гольфстрим» уверенно пошѐл вниз, нежно коснулся земли и плавно покатился по бетонке.

Я закрыл глаза. Мне в голову пришла скучная мысль, что я всю жизнь пропутешествовал в плацкартном. Даже те несколько раз, когда мне удавалось оказаться в бизнес-классе. Даже тот наш с Хелью «шикарный полѐт в Париж» первым классом сейчас показался мне сиротским.

У солдат нет имѐн, у моих солдат не было и фамилий. Лишь номер – буква и цифра, пришитые к груди гимнастѐрки. Впрочем, мой номер – А1, по-английски произносимый как Эй-Ван, скоро трансформировался в неизбежного Ивана.

Основным языком нашей интернациональной бригады стал английский, при отборе людей я пытался убедить Анну не вербовать русских. Мне хотелось избежать эмоциональных моментов, которые неизбежно возникнут, как только выяснится истинное место проведения операции. У Анны было прямо противоположное мнение, она плела чепуху про патриотизм и национальное достоинство, про ненависть простых людей к режиму и к диктатору – как раз именно то, чего я и пытался избежать. В конечном счѐте в отряд всѐ-таки попали три бывших спецназовца с чеченским опытом и один парень из «Альфы». Были французы,

швейцарец, два австралийца, несколько американцев, здоровенный мулат из Бразилии, под номером B2, тут же награждѐнный кличкой Битбул.

– Вы получите ровно столько информации, сколько необходимо для успешного проведения операции. Время и место будет сообщено перед началом операции. Во время подготовки связь с внешним миром запрещается. Любая связь, включая почтовых голубей.

Кто-то заржал, но тут же осѐкся. Ещѐ не было десяти, а солнце уже жарило вовсю, под гимнастѐркой по спине одна за другой стекали щекотные струйки.

– Командирам отделений приказываю собрать телефоны, ноутбуки и прочую электронную дрянь у личного состава и доставить мне к… – я посмотрел на часы. – Доставить мне в десять пятьдесят в командирскую палатку. Разойтись!

По битой глине тупо затопали сапоги. Я отвернулся, локтѐм стѐр пот с лица. Очень хотелось к чѐртовой матери стянуть с себя униформу и прыгнуть в море, которое плескалось в ста метрах от плаца.

– Разрешите обратиться!

– Что? – я оглянулся. Это был русский, один из десантников.

Круглоголовый, бритый блондин, его нос уже обгорел и успел облупиться. Он был на полголовы выше меня и поплечистей.

– Что? – глухо повторил я. Парень вытер ладони о штаны, он явно нервничал.

– Я, сэр… я есть… – начал он на корявом английском. – Я знать…

– По-русски говори, я пойму.

Он удивился, подался ко мне и заговорил быстрым шѐпотом:

– Я знаю, не по уставу это, но не могу не выразить… верней, не высказать. У меня опыт, я в Чечне и

в Сирии снайпером был. И ещѐ по подрывному делу, я и с пластидом работаю, и лягушек ставлю…

– Что ты несѐшь? – хмуро спросил я. – Каких лягушек?

– Мины…– смутился десантник.

Я вспомнил его досье – категория Х, восьмой уровень, диверсант широкого профиля, фамилия Коваленко. Константин Коваленко.

– Я к тому, что… – он запнулся, не зная, продолжать или нет.

– Что?

– Вы ведь тот самый, который Шейха завалил… Вы ведь из морпехов, из «похоронной команды», – прошептал он. – На муслимском сайте за вашу голову миллион…

– Костя… – перебил я его.

Десантник замолчал, я приблизился к нему и тихо сказал:

– Во-первых, не миллион, а полтора. А во-вторых – обознался ты, Костя. Обознался.

У меня было три отделения по десять бойцов в каждом. Из этих тридцати мне нужно было отобрать четыре человека для ударного звена. Группы, от которой будет зависеть не только исход всей операции, но и моя собственная жизнь. Накануне Анна внесла коррективы в план – теперь я должен был доставить ей Тихого.

– Лучше живым, – добавила она. – Хотя это и не принципиальный момент.

– Не понял? На кой чѐрт мне тогда его тащить?

Мы сидели в плетѐных креслах на террасе еѐ дома, эклектичного здания на другом конце острова, по архитектуре похожего на нечто среднее между доминиканским монастырѐм и виллой мексиканского коррехидора.

– Ты понимаешь, что этот «непринципиальный момент» усложняет операцию вдвое? – я зло встал,

подошѐл к белѐной мелом балюстраде. Облокотился, плюнул вниз. Там лениво раскачивались тѐмно-бирюзовые волны Адриатического моря. На горизонте, в вечернем мареве, липком и тягучем, как расплавленное стекло, устало плавился горб острова Брач с пожарной каланчой аэропорта на макушке.

– Понимаю, – невозмутимо ответила Анна. – Но мне нужна гарантия. Стопроцентная.

– Давай я тебе его голову принесу, в мешке? А ты еѐ по телевизору покажешь – вытащишь из мешка и покажешь.

– Он плешивый, за что я его тащить буду? – засмеялась Анна. – Там ухватиться не за что. И потом, это не для телевизора… – она запнулась, продолжила серьѐзно. – Николай, я тебе доверяю. Но ведь я не одна в этом деле. Понимаешь?

Я не ответил, смотрел на волны. Я знал, что она врѐт.

– Ты знаешь, как они его боятся? Из стариков, кто его знал, как шибздика, как ничтожество, как Папкина, почти никого не осталось.

Анна подошла ко мне, оперлась о парапет. На белом еѐ руки казались карамельными от загара.

– Шимкис посмеялся над его фортепьянными упражнениями, – сказала она. – Ты знаешь, что стало с Шимкисом?

– Откуда мне знать, что стало с Шимкисом. Я вообще не знаю никакого Шимкиса.

– Шимкис владел медными рудниками, был сенатором. Его затолкали в грузовой самолѐт, привязали к концертному роялю и выкинули с высоты трѐх тысяч метров.

Она замолчала. С аэродрома Брача поднялся белый самолѐтик, словно игрушка, быстро и беззвучно взмыл в небо.

– Знаешь, сколько времени падает рояль с высоты трѐх тысяч метров? – спросила Анна.

– Минуту? – прикинул я.

– Угу…Там были камеры, и я видела эту запись. Тихий очень любит еѐ показывать.

...К началу августа жара стала невыносимой. В Подмосковье последний дождь прошѐл две недели назад. В Шатуре, Орехово-Зуево, под Серпуховом и Клином начали гореть торфяные болота. Потом начались лесные пожары. Жителей эвакуировали целыми деревнями. Над столицей повисла сизая хмарь, днѐм солнце едва пробивалось сквозь марево, а вечером закаты над Москвой-рекой, Кремлѐм, церквями и высотками разливались зловещим коричневым заревом.

Операция была назначена на двадцать седьмое августа.

В ударное звено я отобрал четверых, включая десантника Коваленко – он действительно оказался отличным подрывником, да и русский язык мог пригодиться. Остальные были разбиты на два отряда – наземный и воздушный, по дюжине бойцов в каждом. Рамирос Альварадо со своими «волками» был противник серьѐзный, я знал уровень его подготовки и поэтому гонял своих ребят нещадно. Под конец они могли ориентироваться на макете с завязанными глазами, назубок помнили, сколько шагов от одного объекта до другого, наощупь знали расположение окон и дверей в каждой постройке.

Несколько раз за нашими тренировками наблюдали какие-то люди. Они прилетали к Анне, их вертолѐт садился на холме, прислуга приносила из дома шезлонги. Гости садились, что-то пили. Доставали бинокли и разглядывали нас, потных и грязных, ползающих, прыгающих, стреляющих. Ловких и занятных, как цирковые мартышки.

В понедельник нас погрузили на старый лансон и переправили на материк. Там ждали автобусы, часть отряда отправили в Дубровник, других в Задар. До Москвы было решено добираться мелкими группами или поодиночке. Я вылетел из Сплита трѐхчасовым рейсом «Люфтганзы» и уже около шести приземлился в Шереметьеве.

Сумрачный зал, огромный, как подземная автостоянка, был забит пассажирами. Я встал в очередь к окошку пограничника за парнем в белой дачной шляпе и с деревянным этюдником на плече. Художник явно страдал жестоким похмельем, достав телефон, он позвонил какой-то Ленке и попросил «организовать пивка».

– Народу лом. Ну откуда ж я знаю, — жалобно проблеял он в трубку. — Да, привѐз… Ага, как просила, с бирюзой.

Мы продвинулись на шаг, художник, не поднимая с пола сумки, пнул еѐ вперѐд.

– С пленера? – я кивнул на этюдник. – Морские пейзажи?

Парень неопределѐнно махнул рукой.

– Послушай, – я улыбнулся. – Ты меня не выручишь?

Художник насторожился.

— У меня батарея сдохла, не дашь мне отзвониться по твоему? – я видел, парень придумывал, как бы ему повежливей послать меня к чѐрту. – Всего три минуты? И, разумеется, отблагодарю в пределах моих скромных возможностей.

Я вытащил из кармана двадцатидолларовую бумажку.

Набрал номер, на второй гудок Джиллиан подняла трубку.

– Кто говорит? – нейтральным голосом спросила она.

– Ник Саммерс. С вами связывалась наша общая знакомая…

– Да, – перебила она. – Вы где?

– Уже в Москве… – я, прикрыв рот ладонью, быстро бросил в трубку.

Узкая площадка перед выходом была забита машинами, все сигналили, но никто не двигался. Из вклинившегося поперѐк движения «Мазератти» выскочил нервный брюнет и принялся орать матом со смешным южным акцентом. На тротуаре стояла патрульная «ауди», один из полицейских, смеясь, снимал южанина на телефон.

Воняло бензином и гарью. Я перекинул сумку через плечо, огляделся. Очередь на такси тянулась метров на сто вдоль фасада и сворачивала за угол. Я пошѐл в конец. Меня нагнал небритый малый, потянул за рукав.

– Куда ехать, командир?

– Кутузовский, к Триумфальной.

– Сколько дашь?

Меня удивил нетрадиционный подход к вопросу ценообразования, я отвернулся и встал в конец очереди. Небритый не отставал:

– За сотку, командир, в лучшем виде!

– Полтинник.

– Восемьдесят? Домчу стрелой!

В его старой «тойоте», невероятно грязной снаружи и изнутри, стоял казарменный дух – мужичий пот с одеколоном. Я попытался открыть окно, на месте ручки торчал стальной штырь.

– Не открывай, – шофѐр включил стартѐр. – Там дышать нечем. Торфяник горит.

Ловко снуя между машин, он вывел «тойоту» со стоянки. Она ехала чуть боком, проседая на разбитых рессорах, из спинки кресла мне под лопатку упѐрся какой-то гвоздь, само кресло было отодвинуто до упора и прикручено к салазкам медной проволокой. Я попытался осторожно вытянуть ноги.

– Из отпуска? – поинтересовался шофѐр. – Где отдыхали?

– В Хорватии.

– А-а… В Югославии.., – и неожиданно заключил. – Все они гниды!

– Кто?

– Все! И первые гниды – хохлы!

– А грузины? Чеченцы?

– Чѐрные? Эти вообще твари!

Мы свернули на шоссе, втиснулись в поток и поползли.

– Сегодня, слава тебе Господи, хоть двигаемся! – шофѐр опустил своѐ окно и закурил. – Ничего что я курю?

Рядом с приѐмником к торпеде липкой лентой была приклеена бумажная иконка Казанской Богоматери. Справа от неѐ примостилась вырезка из журнала – вылинявший в голубое портрет Тихого. Шофѐр заметил мой взгляд.

– Это для ментов…

– Ну и как, помогает?

– Не-е! – шофѐр заржал. – Менты – сучары! Вконец оборзели. А этот – так, для самоуспокоения. Пусть висит, – он выкинул окурок в окно. – Ведь надо во что-то верить!

Возражать я не стал, да и прав он был по существу – во что-то надо верить непременно.

Я вышел у Триумфальной арки. Под ней бродила мелкая стая неизбежных японцев. Мрачная торжественность сооружения, симметрия классических форм явно внушали уважение азиатским туристам. По сравнению с ней странная постройка на Поклонной горе выглядела макетом, сляпанным на скорую руку. Неказистая церковь походила на детскую ракету. Верхушка слишком длинной и слишком тощей стелы втыкалась в грязную дымную пелену, висевшую над городом.

Я пошѐл в сторону Бородинской панорамы. На стоянке экскурсионных автобусов я нашѐл своих. Перед красной двухярусной «Сетрой» с тонированными стѐклами и эмблемой Интуриста меня ждали оба командира отделений.

– Все на месте? — спросил я.

– Нет двоих из моего отделения. Французов нет.

Я посмотрел на часы. Через семь минут появились французы. В чѐрных очках, бритоголовые, с татуировкой на мускулистых руках, почти неразличимой из-за загара, они напоминали пару наѐмных убийц на каникулах. Что отчасти соответствовало истине.

– Comment tu vas? – мрачно спросил я.

– Всѐ о'кей, босс, – ответил один.

– Нас пытались ограбить, босс, – смеясь, добавил другой.

– Надеюсь, вы не стали писать заявления в полицию? – хмуро пошутил я.

Оба заржали.

– Нас пытались ограбить полицейские!

Подробности меня не интересовали, я постучал ладонью по стеклу, водитель открыл дверь.

До базы было километров сорок. Из-за пробок мы тащились туда два с половиной часа. База находилась под Наро-Фоминском на территории бывшего вагонно-ремонтного депо. Автобус остановился перед железными воротами, крашенными зелѐной краской. По верху бетонной ограды шла колючая проволока. Нас долго разглядывали в камеры, наконец, ворота раскрылись и мы въехали на территорию депо. На плацу перед главным цехом нас встретил гипсовый памятник Ленину с отколотой рукой и взвод автоматчиков. Мои ребята начали выгружаться из автобуса. Я объявил общее построение через сорок пять минут, в семнадцать тридцать.

Начальник охраны проводил меня в ангар, там стоял старый Ми-8 с красным крестом на борту и мой

«сикорский». Мой вертолѐт был затянут брезентом. Я подошѐл ближе, зачем-то потрогал брезент. На полу ангара, бетонном и грязном – его, очевидно, никогда не подметали, темнели лужи с тухлой водой. В углу, рядом с кучей угля, были свалены старые слесарные станки, похожие на мѐртвых роботов. Хлопнула дверь, вошла Анна.

– Ну как? Всѐ в порядке? – она стала задавать вопросы, торопливо, не дожидаясь ответа, быстро задавала следующий. – Никаких сложностей по дороге? Все ребята на месте?

Она подошла ко мне, остановилась прямо в луже. Я хотел ей сказать, но увидев еѐ лицо, осѐкся. Она поймала мой взгляд.

– Что, совсем старуха? Да, совсем? – она подняла руки к глазам, так маленькие дети прячутся. – Не сплю третью ночь…

Еѐ лицо было даже не бледным, а каким-то серым, словно из сырой глины.

– Анна… – я начал, не имея ни малейшего представления, что сказать. – Анна…

– Погоди, погоди, – нервно перебила она. – Коля, дорогой, ты ж профессионал… Ты же…Ну скажи, скажи…

Она поймала мою кисть и сжала, притянула к себе. Глядя в глаза, прошептала:

– Ты можешь мне сказать, что всѐ получится? Что всѐ будет хорошо?

Конечно, я идиот. Конечно, мне нужно было сказать уверенным тоном, что всѐ будет хорошо. Но из-за специфического опыта общения с женщинами, притом что женщина в данном случае являлась к тому же и работодателем, а не просто случайным порочно-развлекательным партнѐром, я начал отвечать на еѐ вопрос серьѐзно.

Сказал, что отряд к операции готов, индивидуальные качества бойцов более чем

удовлетворительные, координация между наземной, воздушной и ударной группой отработаны до автоматизма. Но нельзя исключить элемент случайности.

Когда я упомянул элемент случайности, у Анны началась истерика. Она вцепилась в мою рубаху, рванула, пуговицы запрыгали по полу.

Она сипло завизжала:

– Засунь себе в жопу элемент случайности! В жопу! Ты должен, должен его убить! Должен!

Еѐ руки тоже были серого цвета, мѐртвого серого цвета.

– Ты знаешь с какой мразью мне пришлось якшаться? – еѐ голос сорвался, она закашлялась, зло сплюнула на грязный пол. – С какой сволочью и подонками договариваться? Перетягивать на свою сторону, убеждать… Обещать министерские портфели и губернаторские кресла? Этот ублюдок Каракозов, вот ведь сволочь…

Анна оттолкнула меня, пошатываясь, отошла.

– Если он не поднимет авиацию, – она устало махнула рукой. – Гроб с музыкой. Без авиации будет нам всем гроб с музыкой.

Вдруг она звонко рассмеялась, весело, по-девчачьи. От этого смеха мне стало не по себе. До построения оставалось семнадцать минут, до начала операции семь с половиной часов.

– Какая авиация? – я подошѐл к ней. – Какая к чѐрту авиация?!

Мне вдруг показалось, что она сошла с ума.

– Никакая… Тебя это не касается. Ты делаешь своѐ дело и… – она послала воздушный поцелуй в сторону угольной кучи, в сторону мѐртвых станков. – Я ненавидела тебя, ненавидела ещѐ до того как мы встретились. Ненавидела потому что зависела от тебя. Для сильного человека нет пакостней муки, чем зависеть от кого-то… – Анна запнулась, улыбнулась мне невесело, как

улыбаются больным, у которых шанс выкарабкаться близок к нулю. – Впрочем, всѐ это уже не имеет значения. От меня уже ничего не зависит. И ещѐ… Прости меня, ладно?

Она приблизила лицо, по-птичьи наклонила голову и неожиданно поцеловала меня в губы. Поцеловала долгим поцелуем.

– Вот так… И запомни, – она вытерла рот рукой, внимательно посмотрела мне в глаза. – Запомни главное: ты больше не человек, ты – динамит. Ты – мировое событие, что поделит историю России на две части. От тебя зависит будущее.

Подходила к концу пятница, последняя пятница лета. Вялое оранжевое солнце, весь день тускло маячившее в дымном небе, наконец, доползло до горизонта и навалилось на макушки сосен за Николиной Горой. Его отсвет отразился малиновым нарывом в неподвижной воде Москвы-реки.

Сумерки сгустились. Низкое небо, прокопчѐнное августовскими торфяными пожарами, опустилось ещѐ ниже – его грязно-рыжее подбрюшье, казалось, можно было погладить рукой. Музыка, смех и крики министерского юбилея продолжали разноситься на всю округу, до президентской же дачи не долетали.

В двадцать три тридцать на всех постах сменилась охрана, заступила ночная смена. Сменились пароли и коды доступа, включились камеры ночного видения, в ограждение внешнего кольца пустили ток. Автоматические пулемѐты, реагирующие на малейшее движение, затаились на вышках, масляно мерцая крупнокалиберными стволами.

...В час ночи в хозблоке внезапно вспыхнул пожар, загорелся продовольственный склад. Туда накануне были доставлены продукты для столовой, где кормилась обслуга и охрана дачи. Пламя пробило крышу, старая разлапистая сосна, росшая рядом, занялась как свечка – огонь

взметнулся по стволу, побежал по коре, сучьям. Сухая хвоя с треском вспыхивала и охапками юрких искр уносилась в небо.

Дерево со стоном разломилось пополам, его правая часть рухнула на гараж. Загорелась крыша. Охрана и обслуга бестолково металась по двору, бесполезные огнетушители плевались пеной, кто-то лысый и полуголый поливал огонь из садового шланга.

Шофѐры пытались вывести транспорт из гаража, официальный президентский «майбах» с трѐхцветным флажком на капоте застрял в воротах, сцепившись с лимонным «ламборджини». Внутри гаража что-то гулко взорвалось, из-под крыши вырвались огненные языки, а из ворот выкатился огненный шар, заметался по двору, страшно вопя. Завыла пожарная сирена.

Перед шлагбаумом главного входа затормозил джип, за ним остановилась пожарная машина, огни мигалки нервно забегали по чѐрным елям. Из джипа выскочил ладный загорелый полковник МЧС с рацией в руке.

– У вас нет допуска! – орал охранник, пихая его тупорылым автоматом в грудь. – Как вы вообще попали сюда?!

– Я тебе покажу допуск! – с весѐлым азартом орал полковник. – Открывай ворота, кретин!

За стеной, во дворе дачи снова что-то ухнуло, язык рыжего огня взмыл в коричневое небо.

– О! Это уже газ! – полковник ткнул антенной рации в сторону ворот с хромированным двуглавым орлом посередине.

Охранник оглянулся и вдруг, вздрогнув, начал медленно оседать. Полковник, не вытирая, сунул финку за голенище сапога, что-то отрывисто приказал в рацию. Пожарная машина на полной скорости протаранила ворота, тут же во дворе уверенно затрещали сухие выстрелы.

Крыша хозблока рухнула, пожар перекинулся на столовую, в гараже упругими хлопками взрывались кислородные баллоны. Огонь по елям быстро подбирался к главному корпусу. За бассейном, поднимая тучи рыжей пыли с теннисных кортов, снижался вертолѐт медицинской службы. В сполохах и дыму его мутный белый корпус напоминал призрачного кита. Шасси не успели еще коснуться земли, как из люков проворно попрыгали какие-то люди. В чѐрных комбинезонах, в шлемах с окулярами ночного видения, они рассыпались веером, стремительно замыкая кольцо вокруг помещения Службы охраны. Оттуда выбегали сотрудники и тут же попадали под прицельный огонь десанта.

По главной аллее, освещѐнной пламенем и прожекторами, среди убитых и раненых, носились обезумевшие овчарки – кто-то открыл вольер и выпустил собак. Их лай мешался с треском автоматных очередей, стонами и криками. Где-то истошно визжала женщина. Десант начал штурм главного корпуса...

Валерий Бочков *– член американского ПЕН-Клуба. Лауреат "Русской Премии" 2014 года в категории "Крупная Проза" (роман «К югу от Вирджинии»). Лауреат Литературной Премии 2012 издательства «ZA-ZA Verlag» (Германия, Дюссельдорф) в номинации «Малая Проза». Публикуется в литературных журналах.*

Окончил художественно-графический ф-т МГПИ в Москве. С 2000 года живѐт и работает в Вашингтоне.

Профессиональный художник, более десяти персональных выставок в Европе и США. Автор международного проекта "New World Money" ("Новые Деньги Мира").Основатель и креативный директор "The Val Bochkov Studio" – творческой студии, сотрудничающей в сфере визуальной коммуникации с ведущими рекламными и PR-агентствами США.

МИХАИЛ МАЗЕЛЬ

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

Светлой памяти
Бориса Немцова

Который час над Миром чѐрный дождь
из слез, из крови, нефти и отчаянья.
Он заглушает вопли и галдѐж,
подчѐркивая наше одичание.
На фоне ночи в свете фонарей
его лучи блестят…
не верь – он чѐрный,
и не шепчи в незнании "скорей".
Не выйдет, но…
не стой под ним покорно.
Пусть мысль – не мысль.
Пусть боль - не боль.
Пусть крик – не крик.
Заглушит дождь…
Хлопки машин, как выстрел.
И в этом звуке тонет материк,
и звук похож на плеск
на дне канистры.
И бьѐтся в горле хрипом – "по-че-му".
Откуда в небе столько чѐрной краски?
"Я не черню!" "Я не чиню!"
Зачем Ему?
Ответа нет
и нету в том острастки.

А звук дождя давно похож на свист.
И дождь в своѐм стоянье беспристрастен.
Б-г возвращает людям не-
на-

висть,
снег белый покрывая чѐрным настом.
Да. Дождь стоит
путь преградив весне.
Так гаснут звезды. Так – уходят души.
Так происходит...
В жизни:
не во сне.
Так что же делать?
Слушать!
Слушать?
Слушать.
Всего и надо
различить:
"Зажги!"
Не душу – свечку.
Нету свечки – спичку.
А в лужах разбегаются крути,
изга окрашивает
красные странички.

Не бойтесь отраженья красных фар,
дрожащий огонѐк прикрыв ладонью.
И,
может,
Б-г
услышит звук кифар
там
в черноте
пугающе бездонной.
О, ненависть, кто сотворил тебя?
Дрожит, но теплится.
Скажи, что с нами будет?
Идѐм,
дыханьем струны теребя,

сквозь дождь и эхо:
Люди… Люди, люди.

Маленький Мерлин

Нике Т.

Мой маленький Мерлин, прошу, проведи
меня по мосту из печалей…
к смятенью,
и память за это мою не кради.
И мне не давай доверять Провиденью.

Мой маленький Мерлин, откуда мы здесь?
Я знал, что не вспомню, собравшись в дорогу.
За что эти гулкие мысли о мзде?
За то, что опять не вписался в эклогу?

Быть может, я вечность как знаю тебя
Но ты ведь не скажешь? Но ты ведь не скажешь…
И звѐзды под нами звенят и трубят.
И мне не посметь заикнуться о краже.

Мой маленький Мерлин, спасибо за всѐ.
Дай руку, скажи, от чего ты печальна?
Ты ведаешь.Я же опять новосѐл –
не сетую, зная о том изначально.

Мой маленький Мерлин, я верю тебе.
Веди же, смотри – я даю тебе руку.
Пусть прошлое скроет забор из стеблей –
я вспомню тебя, и не будет в том трюка.

С привычным смущением
Откуда спускаются снегом те перья?
Никто не узнает. Никто их не видит.

И в целом не важно, что грустен теперь я.
Не стоит гадать, что нужнее планиде.

Ну что вам сказать: не влюблялся давно я.
Признания есть. Не отвечу ношу ли.
Не ждите, не выдам улыбкой дневною,
о чѐм не гудит вечерами наш улей.

Что было в июне, то было в июне,
тому не побить крыши в августе градом.
Там между любовями строгий и юный
пытаюсь постигнуть наречие ~~к~~ряду".

И радует (пусть вам покажется странным)
на фоне всего эта смена сезонов
и снег из подушки с росой из-под крана
и иней на шеях притихших вазонов.

Так за слово словом уводишь от сути.
Вернѐмся в начало к падению перьев.
Из всех предложений расслышим – тасуйте.
Из всех заблуждений – прижмемся к доверью.

И пусть нас пугает обилье наречий:
нам надо учиться умению внемлить.
Мы перьев не видим, но можем беречь их,
и перья согреют замерзшие Земли.

И юность не юность, и зрелость не зрелость,
и мудрость мерещится детской улыбкой,
и небо привычным смущеньем зарделось,
и строгость моя показалась мне зыбкой.

И крадучись тени устроили пляску,
а я им твердил, что совсем не тетеря,

и долго искал в глубине над закатом,
откуда спускаются снегом те перья.

Как никогда (Время сказок)
Снег исчез, пропал, как будто не было.
Ночь одну тому назад (вчера)
слышал я, по городу (по небу ли)
гнали, гнали дрожки кучера.
Знаю. А на утро вышли дворники
и убрали сказку, а не снег.
Голубело небо. Спали дворики,
и вращался тихо где-то шнек.
Дворникам спасибо: нам не скользко
тротуарами сухими делать день.
Ветер щѐку уколол осколком.
Где ты сказка? Здесь? Везде? Нигде?

Снег бывает всяким: злым, колючим.
С ног сбивая нас, сам сбившись с ног,
по иному стал трясти он тучи,
стать волшебным, добрым снегом смог.
Успокаивая падали горошины,
скатываясь с тѐмно-синих блуз,
и, светлея, становился прошенным,
так давно тревожащий нас блюз.
И как никогда летать хотели
люди. И не спали до утра
тени на нетронутой постели
и, казалось, в Мире нет утрат.

Редкие следы вели из дома.
В бело-синем мареве с трудом
проступала сладкая истома
и звала обратно в тѐплый дом.
Очищать асфальт – не преступленье.
Время сказок – ночь. Их дом – душа.

Я опять молился промедлению,
покрываясь снегом неспеша.
Скрежет возвращает нас на Землю.
"Эй, извозчик!" Утро. Чистый путь.
Что осталось? Блюз. Ему и внемлю.
Ёжусь. Щурюсь и боюсь шепнуть.

Amore. Перевод не с итальянского

Иону Дегену

Слова. Как в них много добра.

Сравнимо с водою в морях.
Ты знаешь… умение брать
играючи лечит мой страх.
Скользит по поверхности луч,
сквозь марево розовых лет.
В звучанье загадка и ключ.
А море... слеза на скуле.

Слеза упадѐт на слезу
Диск красный коснѐтся… вчера.
Секунды похож на лозу
на море в штиль по вечерам
немыслимый водораздел
меж безднами неба и вод…
Слова не оставят без дел,
сподвигнув искать перевод.

И пусть зло останется злом.
Сквозь ветер бессмысленных фраз
то море не задним числом
рождает любовь и не раз.
И выйдет к нему человек,
слегка опираясь на трость,

промолвив: —Тот свет не поблек,
и звук его вовсе не гость”.

Мы знаем прекрасно, кто он:
танкист, литератор, хирург.
А мир наш, зажатый в патрон,
готов сделать медленный круг.
Ты знаешь... уменье давать
важнее талантов иных.
А день... зародившись едва,
метнѐтся, как след от кормы.

Так кто он? Мальчишка – поэт,
не знающий боли и ран,
не знающий соли побед?
Учитель, глядящий в экран?
Он сам… скажет коротко: "Врач—.
А мы промолчим: "Человек!"
Ах, море, ты слѐзы не прячь.
Храни от войны в новый век.

Таинство

... А. У.

Это небо знает много больше.
Эти люди просто ходят мимо.
Эти тени просто дышат ночью
и никто из нас не знает ничего.

Эти чувства – просто шелест листьев.
Эти слѐзы – лишь осколки ветра.
Эти ветки никого не колют.
Отчего ищу я время среди них.

Если спросишь – я скажу: —Бывает.
Раз в столетье или чуть пореже…”

Просто звуки видятся нам чѐтче
и от звѐзд до нас всего два-три шага.

Мне не важно: пусть сто сот парсеков.
Знаю… нет, не знаю – я уверен:
мы столкнѐмся в маленькой кафешке
на планете из созвездия Гончих Псов.

Я болтаю. Знаю. Знаю – склонен.
Знаю, что ты спишь давно и крепко.
Скрепки держат небо. Для рисунка
остаѐтся взять лишь только кисть.

Михаил Мазель *родился в 1967 г. в Москве. Закончил математическую школу №444 и технический вуз. С 1997 г. проживает в Нью-Йорке. Пишет с 20 лет. Вице-президент Клуба русских писателей Нью-Йорка. Занимается web-дизайном и фотографией (участник многих фотовыставок, в том числе и персональных). Редактор Альманахов и web-страницы Клуба. Более 17 лет поддерживает свой литературно-художественный портал «Умение удивляться».*

Опубликовал более десяти книг стихов и прозы. Соавтор более 100 песен.

СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ

МЕЖДУ ЯВЬЮ И НАВЬЮ

Неореалистическая антиутопия

Герой романа Владимир Манушкевич – неблагополучный украинский иммигрант, перебравшийся в Америку, пытается найти себе место в новой стране. Будучи антисемитом по воспитанию, ради выживания он какое-то время прикидывается евреем. После провала розыгрыша «еврейской карты» безуспешно пытается примкнуть к гей-сообществу США, но и там неудача: секс с мужчинами не для него. Одиночество и финансовые тяготы ожесточают его.
Вернувшись в Украину, Владимир Манушкевич ненадолго становится героем украинского националистического движения...
Антиутопия отражает события, происходившие в республике в последниее время...
Мы публикуем первые главы романа.

***

«Традиционный древний славянский похоронный (погребальный) обряд называется «Звѣздный Мост», так же «Калинов Мост» – мост между миром живых и миром мѣртвых, иначе говоря, – мост между Явью и Навью, пройдя через который душа человека попадает на «тот свет». Сей мост видим мы на небе нашем в ясные ночи, ныне же называется он Млечным Путѣм».
Из «Книги Древностей»

С раннего детства Вован Манушкевич пытался выбраться из статуса «кухаркиных детей». Родители его были простыми сельскими людьми, убежавшими в город

из голодного Тремирья своих предков. Село было далекое, на отшибе. Отец, будучи в нем первым красавцем, решил, что ему нужны столичные просторы. Вован, переехав с папой и мамой в столичный Киев, сказал себе, что будет таким же, как все эти «городские»… Как эти, разбалованные мамой и судьбой, носатые еврейские дети из соседнего кооперативного дома... Мамка ворчала, что переехали они из мира Явного в мир Навий и что не будет им здесь счастья. Вова с семьей каждый день пристально рассматривал из окон своей «хрущѐвки» эти барские хоромы с высокими потолками и просторными комнатами. Вовин отец, Федор, периодически, надравшись, высовывался из окна и кричал проходившим мимо отцам отвратительно счастливых семейств: «Папа, какой же вы благополучный, èбта!!!» Мама же на ухо шептала сынку: «Вовка, ты с жидиками этими-то дружи, они толк в жизни знают».

И он дружил, впитывая своим цепким крестьянским умом все, что мог. Дружил, скрежеща зубами, помнил каждую их обновку и каждый развернутый благоухающий завтрак, собранный еврейскими мамашами для своих горячо любимых чад в школу. Наблюдал за их частными уроками – музыкой, шахматами, английским языком, фехтованием. Вовина семья не знала и не умела всего этого. Отец весело работал проводником на поезде и редко бывал дома. Когда же бывал, то оживленно спекулировал дефицитом, пил и лечил венерические болезни, привезенные из поездок. Мать тяжело работала на заводе, все свободное время просиживая у окна, глядя на постылый город, так никогда и не полюбившийся. На селе про нее ходили слухи, что она колдунья, староверка-язычница. Молилась Белобогу, Солнцу, Ветру. В отсутствие непоседливого супруга мамка частенько молилась и богу Яриле, вызывая в доме таинственные полуночные тени и звуки… Ей нужен был мужик в доме, который наполнял бы и ее, и дом. Природа не терпит

пустоты… Вова плохо спал по ночам, сдерживая голодные слезы: пришел пьяный папа и сожрал котлеты со сковороды на всю семью.

Он тоже брал уроки – уроки музыки, рисования, шахмат, английского… Не у частных педагогов, как его «благополучные соседи», а в районном Доме пионеров. У него обнаружили великолепный музыкальный слух, дар к рисованию и лепке. Вова научился хорошо рисовать, играть на разных музыкальных инструментах, соображать в комбинационной шахматной игре и сносно говорить по-английски. Пристально наблюдая за «еврейчиками», перенимал умение торговаться и находить прибыль в любом деле. Взамен оказывал им «силовую» поддержку в уличных стычках с залетной шпаной. Вова отменно дрался и всячески это демонстрировал своим шустрым, но трусоватым соседям. Но никто и не комплексовал, ведь трусость – это ж производная от ума, способность предвидеть негативные последствия своих поступков. Смелость же наоборот – производная, соответственно, от глупости. А кто же хочет быть дураком? В «еврейской» группе он занял свою функциональную нишу. Стал «быком», защитником слабых. А заодно и распространителем рискованных подростковых товаров – порнографических открыток и музыкальных кассет с «западной» музыкой.

Вовины отроческие годы в киевских сладко подванивающих материнской потной подмышкой подворотнях проходили довольно счастливо и спокойно. Мир был свеж и полон обещаний… И тут случилась первая беда в его жизни – покончил с собой отец. Сельский плейбой, начав стареть, болеть и дурнеть, принял волевое решение: «Такой Федька нам не нужен». Посмотрев в последний раз в зеркало на свой оплывший профиль и хлебнув портвейна

«Аромат степи», Федор Манушкевич выпрыгнул из окна пятого этажа. Вова в это время был во дворе и, окаменев, простоял несколько часов в луже отцовской крови с ошметками мозга. На следующий день ему исполнилось шестнадцать лет.

Во время похорон мамка, держа сына в своих объятьях, раскачивалась из стороны в сторону, шепча ему в ухо языческие молитвы: «Ох, холодно нашему папке сейчас. Небось не прошел он Звѐздный Мост, свалился в холодный Нижний Мир Нави. Давай пошлем ему нашего тепла, сына, пусть согреется».

Смерть Федора озлобила Вовку – мало того что деревенский бедняк, так еще и безотцовщина… От вида соседских отцов в цветных пижамах, беззаботно пьющих чай с вареньем на балконе рядом с цветами полезной герани, у него мутнело в глазах. Стараясь заглушить постоянный волчий вой в душе, Вован начал заниматься штангой, боксом и каратэ. Спорт помогал. Парень выдыхал в ударе всю не-навись к несправедливости мира: «Джеб, джеб, апперкот, кросс, хуууук!!!» Вова забросил музыку и рисование, погрузившись в мрачное накачивание мускулов и отработку «смертельных» ударов. Прошло два года… Пришло успокоение, жизнь начала налаживаться. Манушкевич-младший превратился в статного синеглазого шатена со злой улыбкой и пронзительным взглядом. Приплюснутость черепа и лопоухость маскировались роскошной шевелюрой. Приятная внешность, лихость, горящая в руках гитара, великолепно выписанные дружеские шаржи друзей делали его популярным и равноправным гостем в благополучных домах «придворной» советской псевдоаристократии. И тут...

Да, да, да… Кто-то «стукнул», и его очередная партия

порнографических открыток была передана в подставные руки… Милиция, дружинники, понятые, суд, тюрьма. Год тюрьмы. Партнеры и друзья детства виртуозно отвергли все возможные пути разделения ответственности за крамольную порнуху… К тому же Вован искренне любил порно. Как вид искусства. Мечтал стать порнографистом, режиссером-постановщиком. Порнографист Вован в окружении секс-див и друзей-кентавров с футовыми блестящими на солнце фаллосами. Одолевали детские комплексы и воспоминания о черном косматом чужом дяде с огромным членом и маме в белой ночнушке. И шипение мамки: «Оххх, Ярило…»

Год в тюрьме пролетел быстро. Парень Вован был шустрый, крепкий и не робкий. Выучил понятия, достойно отбивался от урок. С паханами был вежлив и скромен. Разобрался, стал своим как с блатными, так и с охраной. За что и был освобожден досрочно. Вышел на волю с новыми деловыми контактами и рекомендациями.

Началась новая пора жизни – Москва-столица. Опять со всеми теми же дворовыми носатиками. Они находили деньги, а Вован на эти деньги скупал у иностранцев доллары, одежду и т.п. Мир был в его руках! Сильный и спортивный, он бесстрашно запрыгивал на ходу в автобусы с иностранными туристами. Поток яркого зарубежного товара наполнял жизнь невиданными доселе цветовыми гаммами и запахами. Зазывно мелькали обнаженные ножки и пупки примеряющих в подъездах его товар покупательниц. Ежевечерние рестораны, где он периодически выходил на сцену и брал в руки электрогитару. Пролетели два веселых года… И вдруг опять – арест, тюрьма, предательство друзей.

На этот раз все было посерьезней – валютные операции. Как и в первый раз, это были клиенты друга детства, Севы Шмуйловича. Как и в первый раз, его ждали

«подставные» покупатели и агенты в засаде. На этот раз в деле участвовала контора – Комитет Государственной Безопасности. Замаячил на горизонте восьмерик… Но после доверительной беседы с «органами» жизнь наладилась. Всего год заключения, и этот год должен был быть посвящен «служению Родине». Вован служил как мог – занимался физкультурой в камере по системе самого Котовского и даже завел роман с медсестрой в тюремной больничке, после чего часто с удовольствием болел, нежась на белоснежных больничных простынях с куском сахара во рту. Блатные не имели с ним проблем. Всѐ прощали за музицирование по требованию и развлекательные уроки каратэ для братвы. Год пролетел стрекозой…

Выйдя на волю в середине восьмидесятых, Владимир Манушкевич ощутил фундаментальный сдвиг в советской системе. Все стремительно менялось – законы, бизнесы, авторитеты. Все дворовые братья-евреи сидели на чемоданах, чирикая, как стайка воробьев. Поток посылок соседям от американской родни проходил через музыкальные руки Вована, у основания большого пальца на одной из которых красовалась вытатуированная синяя воровская точка. Он понял, что вся его команда юности не сегодня-завтра покинет пределы СССР. Жизнь в СССР становилась неудобной – фарцу начали убивать за пару фуфаек «Адидас». Сева Шмуйлович подал, как всегда, хорошую идею: «Манушкевич – чем не еврейская фамилия?»

И вдруг в его жизни появилась Анна. Киевская армянка из хорошей семьи – маленькая, черненькая, сексуальная. Анна выросла в семье военного с неплохим достатком. Фарцовая роскошь Вована потрясла ее казенный доселе мир. Подарки, подарки, подарки… Женщины любят подарки. Да и сам кавалер был недурен. Анна отдала ему

себя со всей теплотой кавказского горячего солнца. Вован же влюбился в нее по уши. Все пустоты его сердца, оставленные ущербной семьей и друзьями, были заполнены Анной. Любовь расцвела в жизни Манушкевича яркими, тонко пахнущими дорогой парфюмерией цветами. Ежедневный изнурительный секс, добыча средств на красивую жизнь – все было просто и правильно. Владимир и Анна вскоре поженились.

Вован устроил «фарцовый медовый месяц» по лучшим гостиницам Москвы и Питера. Замелькали «Интерконтиненталь», «Славянская», «Прибалтийская»… В каждой из гостиниц он виртуозно находил клиентов и договаривался о покупках. В случае особо крупных дел вызывался Сева с чемоданчиком наличных и янтарем. Изредка. Хотя он был всегда где-то рядом.

Этот «медовый месяц» оказался необычайно удачным. Молодоженам везло. Даже гостиничные агенты КГБ в штатском, покоренные их харизмой, не доставляли никаких хлопот.

Но вот наступил день крупной удачи… В лифте «Прибалтийской» Манушкевичи знакомятся с супружеской парой молодых американцев-мультимиллионеров. Американец-супруг был представителем могучей еврейской финансовой династии, выходцем из Киева. Эта семья была весомой частью американского финансового мира. Им принадлежали сети отелей, авиалиний, заводы и многое другое. Узнав, что Вован и Анна из Киева, миллионер растрогался. На вопрос: «не евреи ли они?», Вован и чернявая супруга, получившая щипок за ягодицу, ответили утвердительно. Манушкевич – чем не еврейская фамилия? Тут же посыпались вопросы о преследованиях и возможном переезде в США. Манушкевичи не знали, что у миллионеров состарилась и готова к уходу на пенсию

филиппинская семейная пара слуг. Американцы уже имели двоих детей и ожидали третьего. Симпатичная и образованная Анна виделась как нянька и горничная, а статный Вован в их глазах идеально подходил на роль дворецкого и лакея. Им даже и в голову не приходило, что их новые русские знакомые могут пожелать в жизни чего-то лучшего. До конца понять друг друга мешал английский Вована. Имея идеальный музыкальныйлух, он понимал звучание английского языка и популяр-ных словосочетаний, но часто не знал до конца их значения. Так что Манушкевичи нашли себе новых друзей, а Фрицкеры – новых слуг.

Отъезд в Америку состоялся у всего киевского двора почти одновременно. По случайности ли, но уезжали все. Сева восхищенно рассматривал иммиграционные бумаги Владимира, оформленные за две недели. Адвокат семьи Фрицкеров лично составлял документы и общался с иммиграционными властями.

Щедро оплаченные с обеих сторон чинуши проявляли чудеса понимания и оперативности. Через пару месяцев после подачи документов Манушкевичи были готовы к отъезду. «Потрясающе! Как ты это сделал, старик? У нас это заняло полтора года!» – тараторил друг Сева Шмуйлович. Вован только победоносно улыбался – а ля сильвестрсталлонов-ский Рэмбо. Он долго разучивал эту победную ухмылку перед зеркалом и сегодня был правильный день, чтобы ее продемонстрировать. Наконец!!! Наступил день, когда опустел их киевский двор. Все уезжали с радостью, не оглядываясь назад.

Америка потрясла своими масштабами. Вован с Анной гордо заселились в роскошный пентхаус на крыше одного из исторических небоскребов Чикаго.

Им выделили однокомнатную каптерку рядом с кухней, кладовкой и туалетами. Каптерку, несмотря на то,

что в особняке пустовали четыре роскошные спальни с джакузи, мини бассейнами, и т.п. Манушкевичи ничего не понимали. Хозяева любезно позволили пользоваться спортзалом и комнатой для музицирования, где стояла аппаратура стоимостью полмиллиона долларов. Анна сразу была задействована с детьми. Вован же, «качаясь» до опупения в спортзале, а потом тренькая на гитаре, недоумевал: «Чего же от меня хотят?» Его то просили поднять что-нибудь тяжелое, то сходить принести почту… Ему и в голову не приходило, что его, киевского центрового фарцу с тюремной кличкой Акула, определили в прислугу…

Прозрение пришло после того, как он сказал, чего сделать не может, а чего не хочет. После этого Фрицкеры, напоив Вована и Анну непонятным чаем со льдом, на пальцах растолковали, чего они от них ожидают. Надо отдать американцам должное: услышав яростную отповедь, они продолжали улыбаться и хлопать гостей по плечу. Ну, потеряли чуть-чуть денег на иммиграционных адвокатов. Спишут эту сумму в налогах как благотворительность в любом случае… Но слуги ж все равно нужны…

Манушкевичи оказались на улице. Фрицкеры сняли им студию в хиповом районе Чикаго, заплатив за шесть месяцев вперед. Анна продолжала подрабатывать у них няней, а Вована за красоту и стать определили официантом в русский ресторан в даунтауне Чикаго с поучительным намеком: «Не хочешь прислуживать друзьям, прислуживай незнакомцам». Там на него надели псевдогусарскую форму и велели прислуживать хорошо. Привыкнув к высокомерности советских официантов, Вован был неприятно удивлен американской альтернативой. Ресторан был успешный, посетители – доктора, банкиры и адвокаты из окружающих небоскребов. Заметив нелюбезность

новичка и свежий русский акцент, завсегдатаи ресторана стали над ним потешаться. Не так, чтоб очень злобно, но постоянно и однообразно. Подозвав Манушкевича к столу, посетители, тщательно пережевывая пищу, с долгими паузами на смакование расспрашивали его, указывая на свою тарелку: «А у вас в России есть такая еда? Да? Неужели??? А мы слышали, что у вас ничего, кроме консервов, нет... Нет, нет, вы не уходите, у нас есть еще вопросы... А правда, что русские женщины все очень красивы и ложатся в постель с иностранцами просто за хороший обед в ресторане?» В процессе очередной «светской» беседы Вован вспылил, и, издав каратистский крик «кийя-а!!!», пробил кулаком обеденный стол. Высокие стаканы с водой и льдом, стоявшие на столе, опрокинулись и обмочили ухоженные и тщательно надушенные промежности посетителей. Вована, конечно же, уволили. В семье Манушкевичей началась бедность. Самая противная – бедность, окруженная богатством.

Потекли мучительные месяцы и годы в Чикаго. Денег еле хватало на элементарное выживание, о красивой жизни вопрос не стоял. Вован периодически подлеплялся на дармовщину к полузнакомым людям, что в Америке успеха не имело. Американцы, с которыми он пытался дружить, думали, что Вован – очередной «вонючий» поляк. Чикаго был вторым городом в мире по количеству польского населе-ния… Вторым после Варшавы! Да, поляков там было много, но популярностью ни у англосаксов, ни у итальянцев, ни у ирландцев и прочих они не пользовались…

У Манушкевичей не было толком друзей. Так, какие-то знакомые по общим делам. Дела же шли в основном у Анны. Ее везде принимали на работу, приглашали в гости. Вован же мрачно слонялся по городу. Периодически устраивался на дурные нищие подработки. Вскоре и их

терял. Анне становилось все скучнее жить с «бывшим Акулой». Его бесстрашный пронзительный взгляд потускнел, появилась неуверенность в голосе и движениях. Сценический образ легендарного фарца, героя Крещатика с электрогитарой растаял на чикагском Бродвее… Через полгода Анна ушла от Вована. А еще через полгода она вышла замуж за большого начальника со своей очередной работы. Был он из Стокгольма. Богатый, толстый и лысый, имеющий роскошный дом в центре столицы викингов, муж утолил тоску Анны по достатку и положению в обществе.

Уход жены оставил в душе Владимира огромную дыру, пролетая через которую, пронзительно свистели ледяные злые ветры. В один из дней порыв ветра материализовался в Манушкевича-старшего. Тот обнял сына, чуть не заморозив: «Остынь, сынку!» Потом улетел, унеся с собой боль и беды. Вовану чуть полегчало, он вздохнул с благодарностью, прислушиваясь к шелесту ветра в кронах деревьев.

Пытаясь заглушить боль потери и одиночество, Владимир начал путешествовать по Америке, навещая всех своих киевских «дворовых» друзей. Духовного успокоения это не принесло. Все друзья были заняты своими семьями и работой.

По приезде в Америку еврейская община США широко распахнула им свои могучие объятья. Помогала деньгами, устраивала на работу, находила невест. После лютого украинского антисемитизма новоприбывшие еврейские иммигранты просто летали над американскими улицами как космонавты в открытом космосе, освободившиеся от уз земного притяжения.

Привычка много и хорошо учиться в Америке сильно пригодилась. Вовины друзья один за другим получали американские дипломы адвокатов, бухгалтеров, дантистов… Правильно и выгодно женились на еврейских девахах с

хорошим приданым. Рожали детей, много работали и боготворили своих жен. Длинноволосый и модный Вован выглядел совершенно неуместно в этих больших, наполненных кухонными запахами и детским рèвом домах. Глядя на сидящего в собственном фруктовом саду адвоката-финансиста Севу Шмуйловича с двумя детьми на коленях и любящей тещей, подающей чай, Вован неожиданно для себя выдохнул: «Папа, какой же вы благополучный, èбта!»

Ветры в оставленной Анной дыре свистели всè злее… Вована заштормило: всè в жизни не так! А эти евреи здесь еще больше «впереди», чем там. Ах ты, Йоськина морда! Шо ж такое? Я ж смотри какой… казак лихой! Ах ты, беда-то, беда…

Сергей Романович *родился в Баку в семье ученых и литераторов.*

В США – с 1989 года. В настоящее время живет в Сан-Франциско.

Начав свою научную карьеру в Академгородке Новосибирска, много времени проработал в известных исследовательских центрах. Автор более дюжины промышленных патентов и многих научных публикаций. «Между Явью и Навью» – первый роман Сергея Романовича.

Его можно приобрести на Amazon.
Mejdu Iaviu i Naviu (Russian Edition) (Russian) Paperback by Sergei Romanovich (Author)

ОЛЬГА ДУНАЕВСКАЯ

БАБ-САНЯ

Когда я была маленькой, мама очень много работала и видела я ее редко И так получилось, что главным человеком в моей жизни стала баб-Саня. Вообще-то она бабушка Александра Петровна – мамина мама. Но все мы давным-давно зовем ее баб-Саней, даже теперь, когда она умерла.

Жила баб-Саня со своей старшей дочерью и маминой сестрой тетей Любой в одном из арбатский переулков – Нащокинском (позже – улица Фурманова), на последнем этаже старого «доходного» дома. У них была огромная комната с высоченными потолками, перегороженная на три маленьких.

В самой большой из трех баб-Саниных комнат каждый час били старинные часы и каждые полчаса – тихонько вызванивали. Мама говорила, что не понимает, как раньше могла с ними спать. А мне нравилось. Проснешься ночью, послушаешь, сколько пробьет, и засыпаешь уже до утра.

В битком набитом книжном шкафу у баб-Сани стояли старые книги. Часть их была подарена баб-Сане за то, что она много лет назад хорошо воспитывала беспризорников.

Я прошу кого-нибудь вынуть мне книгу из шкафа – такие они большие и тяжелые, но и красивые же! Одна обложка чего стоит: кожа, тисненая золотом. Л. Н. Толстой «Война и мир», А. С. Пушкин «Стихотворения», М. Ю. Лермонтов «Поэмы». Но не только обложка в них красива; книги полны чудесных картинок – цветных и черно-белых. Цветные, как в настоящих альбомах, прикрыты сверху листочком воздушной папиросной бумаги. Каждая буква, с которой начинается новая глава, сделана в форме какого-

нибудь существа и вся увита вензелями.

У баб-Сани болели глаза, читать мне она не могла. И вот она решила научить меня читать и писать задолго до школы. Скоро я усвоила буквы, и бабушка, порывшись в книгах, достала «Пиковую даму» Пушкина и велела мне читать вслух.

И это, пожалуй, единственное нелюбимое мной воспоминание о баб-Сане.

Читать про эту даму мне было ужасно скучно. Я засыпала над страницами и никак не могла дождаться конца. До сих пор ни разу не перечитала и не посмотрела в театре это многими любимое произведение. Заставить себя не могу.

Однако грамота пошла на пользу, и скоро я сама могла читать сказки и научилась довольно бегло писать. Примерно в это время баб-Саня решила начать воспоминания.

Она стала плохо себя чувствовать после смерти деда. И часто сидела молча на своем изогнутом «угловом» диванчике, тихонько покачиваясь из стороны в сторону. Как маятник на ее старинных часах.

Она старалась писать сама, не мешая моим занятиям, но когда совсем уставала, просила меня помочь. Я видела, что баб-Сане неудобно меня просить, а мне было так интересно слушать ее рассказы, и я с радостью писала под ее диктовку.

«Надвигались сумерки. Сидя на крыльце, я думала, что теперь уже не увижусь с Леонидом никогда и, значит, навеки его потеряю. Погруженная в такие безнадежные мысли, я не заметила отдаленного звона бубенцов. Но вот колокольчик становится слышней и слышней. Вскоре из-за поворота на дороге показалась тройка, запряженная в пролетку. В нашей глуши звук колокольчика был редкостью».

Худые баб-Санины руки крепко сплелись на коленях.

Дрожит на лице четкая сетка морщин. Маленькая лиловая родинка на левой щеке подскочила к самому глазу. Баб-Саня плачет.

***

«Я, Леонид и Маня Аравийская – подруга моя, собирали землянику – одичавшую клубнику, росшую на опушке парка, и из лопушков угощали друг друга.

Маня любила рассказывать эпизоды из жизни школы и между прочим рассказывала, как я славилась среди подруг своим умом и красноречием, так что меня прозвали «поэт, философ, оратор Демосфен». У нас принято было давать какие-нибудь прозвища. Особенно меня выделял преподаватель русского языка. Мои сочинения он всегда читал как самые лучшие и говорил, что у Смирновой есть писательская искорка.

Рассказывала, как архиерей раздавал награды лучшим ученицам. Среди Библий и Евангелий в блестящих переплетах, инспектор подал архиерею словарь Павленкова (в то время запрещенную книгу), который предназначался в награду мне. Архиерей спросил:

– Библия?

Инспектор кивнул, и архиерей благословил меня словарем, дал поцеловать книгу и свою руку. Сколько было смеху среди нас после, но инспектор рисковал многим.

Рассказывала Маня, как любили мы уроки физики, которую преподавал в школе Константин Эдуардович Циолковский. Уроки эти были праздником: даже самые тупые девочки слушали его, затаив дыхание. Если девочка не могла ему ответить и начинала плакать, он вызывал меня и говорил:

– Вот вы, беленькая, выйдите, объясните ей, может она вас скорее поймет. – Но я-то знала, что лентяйка просто пользуется добротой учителя».

***

У баб-Сани во время войны был поврежден вестибулярный аппарат. Из-за этого она шаталась, как пьяный, даже еще больше. Если с одной стороны не было стенки или никто не поддерживал ее, баб-Саня летала зигзагами, но не падала. Она знала, какое это производит неприятное впечатление, и стеснялась лишний раз выходить из комнаты. Усаживалась около форточки, покрывалась огромной желтой шалью и дышала воздухом. Гуляла она только летом, а когда у нас появилась дача, у баб-Сани хватило сил разбить перед террасой цветник. Она любила флоксы, левкой и душистый табак. Круглый день она проводила в саду, а вечером сидела в своей желтой шали перед распахнутым окном и дышала цветочным запахом. К концу лета она даже немного переставала шататься.

В теплые дни мы ходили на речку Учу, потом пили чай и ужинали. А вечером я читала баб-Сане вслух или помогала записывать ее воспоминания дальше.

***

«…После купания возвращались спокойнее, хотя гору брали приступом, наобгонки.

Дома, на крыльце, ждал накрытый стол: ворох сдобных ржаных ватрушек, кастрюля ячменного кофе, кастрюля густого горячего молока с розовой пенкой; пыхтел и булькал ведерный самовар.

Все усаживались вокруг стола, и мама успевала наливать – кому кофе, кому молоко, кому чай. После одинокой зимы ее радовало шумное застолье молодежи.

Гостей в это время съезжалось много. Наевшись, мы отправлялись через речку на лодке или вброд, босиком, на другую сторону. Там от самой реки Лужи тянулся заброшенный парк, тенистый и старый, полный причудливых строений и полусгнивших лавочек.

В парке бывало безлюдно; в развалившемся ныне, а некогда красивом – с колоннами и флигелями – доме доживала век свой барыня, дряхлая старушка, с молодой еще дочерью, от природы слабоумной. Девушка эта, Варвара Ивановна, иногда встречалась нам, здоровалась, как со старыми знакомыми. У нее был удивительный голос, и владела она им прекрасно. Я просила ее поваляться с нами в траве и что-нибудь спеть. И Варя охотно затягивала:

«Три девицы шли гулять –
Шли гулять – а-с!
Шли они лесочком
Да темным лесочком.
Да повстречались со стрелочком
Да со стрелочком молодым…»

Это была любимая ее песня. Потом Варя неожиданно вскакивала и мчалась к реке купаться. Нисколько не стесняясь, если на реке встречались мужчины, она раздевалась догола и бросалась в воду. Ее редко пускали одну, и она, видимо, старалась воспользоваться свободой».

***

Умерла баб-Саня, когда мне было десять лет. Она перед этим неделю болела.

В понедельник она отказалась есть. Тетя Люба настаивала. Тогда баб-Саня вылила завтрак в горшок под диваном. И сказала, что жить ей надоело. И больше не ела ни разу. Врачей она к себе не подпускала. Примерно в среду, на третий день ее голодухи, мама привела меня к ней. Баб-Саня лежала на изогнутом своем диванчике, уткнувшись лицом в спинку. Когда тетя Люба объявила, что я пришла, баб-Саня не повернулась. Заплетающимся языком она сказала, что в столе лежат деньги, и велела мне пойти в кондитерскую купить себе пирожное. Я отказывалась, говорила, что лучше побуду с ней. Тут баб-

Саня крикнула, как могла громко, чтобы я немедленно шла.

Я поплелась на Гоголевский бульвар в угловую булочную. Там были только коричневые пирожные, похожие на два куска черного хлеба, сложенные один с другим и смазанные не обычным, а шоколадным маслом. Я купила такой бутерброд.

Когда я вернулась, все оставались в тех же позах, что и до моего ухода: баб-Саня, отвернувшись, на диване, мама – в кресле у баб-Саниных ног, тетя Люба стояла, прислонившись к притолоке. На этой притолоке отмечали годы и рост всех трех баб-Саниных внуков.

Когда я сказала, что пирожное куплено, баб-Саня легла на спину и потребовала, чтобы ей его показали. Я поднесла пирожное почти к ее глазам, и она снова крикнула, что это чепуха, а не пирожное. Надо было покупать только «наполеон». Мы все очень любим «наполеон», и тетя Люба иногда делает его дома.

В четверг баб-Саня уже не узнала ни маму, ни тетю Любу и к вечеру перестала разговаривать. Она была такая маленькая и худенькая, баб-Саня, много ли ей нужно, чтобы умереть.

В воскресенье, еще лежа в постели, я, как обычно, позвала маму. Мама вошла очень розовая, просто пунцовая, и сказала:

- Бабушка Саня умерла.

И заплакала.

Я тоже плакала весь тот день и следующий. Потом мне стало казаться, что дальше плакать у всех на глазах неприлично, и я уходила в уборную или во двор. На похороны меня не взяли, да я и не рвалась. Лучше я буду помнить баб-Саню живой, ну, на худой конец, просто заболевшей.

Из множества лекарств всю свою жизнь баб-Саня признавала два: ревень и пятерчатку. Ревень она нежно называла «корешок». Его надо было толочь с сахаром и

пить при любых болях в животе. Пятерчатка (а по-научному пенталгин) помогала от всех остальных болезней. Ее употребляли при мигрени, при давлении (как низком, так и высоком), при болях в сердце, при гриппе, при плохом настроении и т. д. Пятерчатка носила домашнее название «одолей моя печали», или, сокращенно, «одолень». В последний месяц баб-Саня пила по пять таблеток одоленя в день. Это была ее крайняя норма. Баб-Саня даже вела на отдельном листочке запись, сколько она выпила, чтобы не отравиться. Выпьет таблетку и сразу ставит крестик. И вот, когда баб-Саню увезли в морг, мама стала собирать ее постель и под подушкой нашла «календарик одоленя». Три графы с понедельника до среды никаких записей не содержали, а на четверге вместо крестиков было написано крупно, корявыми печатными буквами: «НАЧАЛОСЬ».

В колонии для беспризорников, или еще из воспоминаний бабушки Сани

«…С 1 сентября начиналась школа. Записалось ко мне двести ребят. Школа находилась в Зачатьевском переулке, рядом с Остоженкой. Кроме меня такие были учителя: студент медицинского факультета, студентка Строгановского художественного училища, две совсем юные учительницы и одна уже со стажем.

Шел 1918 год. Дров нам выдавали мало, так что в классах часто сидели в пальто (у кого оно было) или в материнских кофтах. Так начались занятия.

Ребят распределили по классам сообразно не возрасту, а уровню знаний. И хотя учителя понимали, как в таких условиях необходима дисциплина, не всем удавалось наладить ее. Вбегают как-то ко мне в класс ребята и просят:

– Александра Петровна, зайдите к нам в 3 «Б». Надежда Ивановна плачет, в нее Приходин бросил шарик с

чернилами.

Я прошу свою группу тихонько списывать с книги упражнение и иду успокаивать 3 «Б». Учительница отправляется мыться и приводить себя в порядок. Ребятам я велю явиться завтра с родителями. И если хулиганство не прекратится, обещаю распустить группу. Родители много помогали тогда.

Кругом свирепствовал сыпной тиф. Ребята спозаранок выходили встречать меня на Остоженку. Издали увидев, орава бросается ко мне с криками: «Красные валенки! Красные валенки!» Мне удалось в ту зиму достать красные валенки, и по ним ребята узнавали меня. Все старались найти, за что бы уцепиться: кто за руку, кто за портфель, кто за пальто. Дорогой наперебой рассказывали:

– У меня мамку увезли в больницу.

– У меня – брата и Аксютку Иванову.

Из районной столовой ежедневно получали на каждого ученика завтрак: двести грамм хлеба и пшенной кашицы. Так как каждый день кого-то увозили в больницу, оставшиеся порции делили между всеми. И хотя родители помогали при раздаче, у сторожа постоянно обнаруживались припрятанные порции.

Сначала тифом заболела молоденькая учительница. Как только она выздоровела, заболел и умер студент-медик. А был просто богатырь.

Дети ласкались ко мне, особенно девочки из младших классов, и я со дня на день ждала тифа. Знакомый врач посоветовал мне дома мыться. Как прихожу из школы – сразу в ванную. Просматриваю вещи: нет ли паразитов. Мыться приходилось холодной водой: топлива едва хватало на комнату, где жили и взрослые и дети. А детей у меня было один свой и пятеро сирот от умершей сестры мужа. Белье на всех стирала ночью в чуть теплой воде, до семи утра. В семь часов ополоснусь холодной водицей, пью чашку морковного чая и – в школу.

Я забеременела второй раз и 16 ноября 1921 года родила вторую девочку. Пришлось уволиться с работы. В этот почти непереносимый момент нас очень поддержали посылки из Америки (их называли АРовские). Получаю однажды повестку явиться за продовольственной посылкой. Там выдали 20 килограмм пшеничной муки, 10 килограмм шпигу, 10 банок сгущенки, 10 килограмм рису, 10 килограмм сахару. Кажется, не перепутала, но если что забыла, можно простить. Да, еще пять банок какао. Это было такой поддержкой для нас!

К тому же открылись АРовские столовые для детей. Там давали большие порции риса и какао со сгущенным молоком. Вскоре из профсоюза на меня и на мужа выдали по мешку муки: мешок ржаной, мешок пшеничной – крупного помолу. Так что после рождения второго ребенка я смогла уйти с работы и полностью заняться домом.

Когда младшей дочке, Ляле, исполнилось пять лет, я твердо решила снова идти работать. За прошедшие годы нужда наша только усилилась. Муж зарабатывал слишком мало для огромной семьи. В то время была безработица и вышло постановление: кто не работал два года, терял профсоюз, а не членов профсоюза на обычную работу не принимали. Я не работала уже четыре года и теперь должна была поступить туда, куда никто не хотел идти.

Такую работу мне мог предоставить лагерь беспризорных. В них постоянно требовались воспитательницы. Сестра моя, жившая тогда в Подольске, справилась в местном Отделе народного образования, где ей ответили, что есть место воспитательницы в Мещерском детском доме. Не раздумывая, отправилась я в Подольск.

Заведующий Отделом народного образования Бородкин повез меня на лошади в Мещерское. Был март, начиналась ростепель, но сани еще проходили по лесной дороге.

Когда мы подъехали к зданию детдома, толпа ребят

всех возрастов облепила нас. Все были грязные, в рваных серых пальтишках, дырявых сапогах и таких же кепочках. Из дома вышел мужчина в форме милиционера, и, как мне показалось, с револьвером у пояса. Был он средних лет, рыжий, с бородкой. Он и оказался заведующим.

Двухэтажное здание утопало в мусоре и навозе, которые сейчас были покрыты тонкой ледяной корочкой и по крайней мере не смердили. Заведующий провел нас в свою квартиру. Там мы нашли его старушку-мать, жену и двоих тщедушных бледных детей лет семи-восьми.

Бородкин потребовал, чтобы Николай Васильевич (так звали заведующего) без утайки рассказал, что случилось в Мещерском неделю назад.

Молодая учительница приехала в детдом. Ребята невзлюбили ее, стали ей грубить. Ребят здесь было 75 человек от двенадцати до двадцати двух лет. Воспитательница решила их наказывать: лишала кино (в которое пускали по десять человек и то изредка), заставляла носить по сорок охапок дров на второй этаж, где располагалась кухня. Эти наказания были ребятам знакомы, но учительницу они просто возненавидели.

И вот однажды ребята подстерегли ее вечером, свалили с ног и ужасно избили. Пока одни били, другие разграбили ее комнату. На шум прибежал Николай Васильевич и закричал, что будет стрелять, если все не разойдутся. Полумертвую воспитательницу увезли в Подольск. Вещей ее найти так и не удалось.

На ее-то место я поступала.

После рассказа заведующего я потребовала, чтобы ребятам объявили, будто прислана я из Москвы, и если они не станут слушаться, их зашлют на трудработы. Николая Васильевича я предупредила, что неделю буду не дежурить, а только знакомиться с ребятами.

Вернувшись в Москву, я собрала вещи, взяла Лялечку и переехала в детдом. Мне дали хорошую светлую комнату. Там было три кровати – две для нас и

одна для мужа. Леонид обещал приезжать из Москвы каждую субботу.

Поначалу знакомиться со мной приходили самые взрослые. Лялю я брала с собой, хотела, чтобы ребята сразу к ней привыкли. Правда, Николай Васильевич говорил мне:

– Дочку напрасно взяли. Мои вон два года дома сидят. Как выйдут на улицу, ребята закидывают их камнями.

Беседы с воспитанниками я начинала с вопроса, почему по ним ползают вши. Ребята взрослые, а в чистоте себя содержать не могут, бани, что ли, нет? Не в том дело, баня есть и очень хорошая. Но из мытья ничего не получается, кроме хулиганства: кто первый захватит, тот моется, пока не истратит все отпущенное мыло и не выхлещет всю воду. К тому же, что мыться-то, если белья всем не хватает. На вопрос, почему прогуливают школу, ответили: нет обуви, и стали показывать свои дырявые опорки.

Когда со всеми переговорила, собрала в зале и сказала:

– От вас зависит все. Приведете себя в порядок, приведите после себя баню в божеский вид, чтобы и мы могли помыться. Чистым бельем и обувью постараемся вас обеспечить. Пора мыть здание: вон все панели матерщиной исписаны. К вам не то что кино пригласить, ни один порядочный человек не зайдет – побрезгает. Картины хорошие в кладовке пылятся – повесим. Вкатим рояль с чердака, танцы по вечерам будут.

Тут же выяснилось, что есть девочка, которая поет и играет.

– В зал проведем радио, чтобы слушать всем вместе интересные передачи, - продолжала я. – А для начала устроим праздник.

Когда я спросила, какого угощения хотели бы ребята, все признались, что давно мечтают о белых

булочках, колбасе, конфетах. Не мешкая, я уговорила Николая Васильевича ехать в Подольск. В ОНО ему ни в чем не отказали.

Через день все панели в детдоме были вычищены, развешаны картины. Но ребята с хитрецой заглядывали мне в глаза.

– А как вы нас наказывать будете, если кто схулиганит?

Я заявила, что наказания у нас отменяются, потому что ребята, наверное, и сами понимают, что всякий беспорядок будут расхлебывать сами, и назначила ответственных на каждую группу.

Под Пасху решили устроить комсомольскую субботу. Ребята, все чистые, в новых ситцевых рубашках, в черных шароварах, в блестящих сапогах, вели себя очень чинно. Шутили, что даже спать будут в новеньких кепках.

В зале составили столы, покрыли их чистыми простынями. Посередине стола, на громадном подносе – трехведерный самовар, вокруг – кружки. Девочки помогали разливать чай и обносили ребят. В дверях, перебросив через руку полотенца, появились старшие с подносами. На подносах порции: колбаса, булочка и конфеты; Николай Васильевич очень волновался и все твердил:

– Набросятся ведь и разграбят.

Но ничего подобного. Ребята очень скромно и степенно брали свою порцию и еще подсказывали другим:

– Ким, ты не все конфеты забрал, вот эти две тоже твои.

В этот день приехал Леонид с фотоаппаратом – он недурно снимал. Сначала сфотографировал каждого в отдельности, потом всех вместе, с воспитателями, кухаркой, прачкой. Ребята просто замирали, когда Леонид говорил громко:

– Спокойно. Снимаю.

К этому времени в зал уже подвели радио. И когда

заиграла музыка, ребята вздрогнули от неожиданности.

Все прошло чудесно. Николай Васильевич заявил, что я – настоящий гипнотизер.

Через пару дней было объявлено, что по радио начнется трансляция оперы «Евгений Онегин». Накануне в здании погас свет, и Николай Васильевич увидел в этом злой умысел:

– Ребята подрезают провода, чтобы устраивать «темную». Распарывают в спальне подушки, выпускают пух, накрывают кого-нибудь одеялом и избивают до смерти.

Я не поверила, и когда ребята ужинали, обещала прийти в спальню, чтобы рассказать содержание оперы, которую назавтра мы услышим по радио. Петь будут артисты в Москве, в Большом театре.

Света все не было. Я взяла семилинейную керосиновую лампу – на ней я грела щипцы для завивки волос – и тихонько пошла вниз, в спальни. Прихожу, все лежат в полной тишине. Спальня мальчиков занимала два зала, соединенных аркой. Я встала под аркой так, чтобы видеть оба зала и начала рассказывать. Ребята слушали как завороженные. Я думала, что младшенькие скоро заснут, но вижу, стриженые головки поднимаются, чтобы лучше слушать. Я рассказала ребятам о самом Пушкине и о его романе. Особенно их заинтересовали дуэли. Пришлось рассказать об этом подробнее. В общем, задержалась я у них здорово, а надо было еще идти в спальню девочек.

Стучу тихонько в дверь. Тишина, потом топот.

– Девочки, это я, Александра Петровна.

Начинается возня. Наконец, я могу войти. Девочки сознались, что заставили дверь тумбочками и кроватями. Они ждали, что вот-вот ребята придут их бить и грабить; боялись спать, прислушивались. Я их успокоила и кратко пересказала «Евгения Онегина». Было уже поздно, и, пожелав девочкам спокойной ночи, я пошла к себе наверх.

На лестнице слышу мужские голоса, в лицо мне

ударяет электрическим светом. Николай Васильевич и преподаватель ремесел стоят с пистолетами:

– А мы уж решили, что ребята вас убили. Такая тишина, и вас нет.

На следующий день ребята ужинали раньше обычного. Каждый вечер я лечила им глаза, и теперь надо было успеть до передачи. Перед моей комнатой выстраивалась очередь, и я пускала им глазные капли. У многих были воспаленные веки и сильный зуд. После капель зуд прекращался. Поэтому все поверили в лечение и являлись регулярно. В этот вечер я быстро всех приняла, и мы устроились в зале.

Перед каждым действием передавали содержание, так что ребятам все было понятно. Я разрешала им сидеть на лавках с ногами. Все слушали напряженно. Николай Васильевич слушал с нами и пенял мне после, почему я не пригласила его детей.

Так начались наши литературно-музыкальные вечера. Иногда, в плохую погоду, ребята просили мою Лялечку почитать им что-нибудь. Я захватила из Москвы несколько книг. Особенно нравился детям «Хаджи Мурат».

Я их корила тем, что Лялечке всего пять лет, а читает она лучше них. Ребята звали ее на воровском жаргоне «Зубовская», что означает «маленькая, хорошенькая». Она была действительно хороша: полненькая, с прекрасным цветом лица, курчавыми волосами и темными смышлеными глазками.

Когда настала весна, я решила убрать навоз перед домом и разбить клумбу с цветами. Ребята воодушевились этой мыслью и деятельно принялись за работу. Утащили весь мусор, вскопали землю, принесли чернозема. Клумбу окантовали кирпичом, уголками вверх. Все работали, и моя Ляля вместе с девочками подтаскивала кирпичи.

На подоконнике открытого окна первого этажа сидел мальчик лет двенадцати. Он был убогим: ему

ампутировали одну ногу. Мальчик этот редкой нежной красоты, имел чудесный звонкий голос и, глядя на работу ребят, пел свою любимую песенку:

«Хорошо тому живется,
У кого одна нога –
Много обуви не рвется
И порточина одна».

Вдруг песенка оборвалась. Афонин (его фамилия) закричал мне:

– Александра Петровна! Что ж это вы за нами смотрите, а не видите, какие Зубовская кирпичи таскает. Вот уронит на ногу и будет хромая. - Забота мальчика тронула меня. Значит, моя Ляля им не чужая.

На следующий день заведующий привез из Подольска ящик высадков: георгины, табак, левкой, астры. Наш муравейник снова заработал. Кто лунки для цветов делал, то воду натаскивал, кто сажал. И все лето цвели и благоухали наши цветы. Ни одного цветка с клумбы сорвано не было, ребята зорко за этим следили.

Около клумбы в тенечке расставили столы с лавками; за ними я занималась со старшими чтением и письмом: готовились к поступлению в ФЗУ и ФЗО, кто куда в зависимости от возраста. Но чтобы поступить учиться, необходимо было пройти в Москве профотбор и, главное, установить возраст. Никто из ребят не знал точно, сколько им лет. Возраст мог установить только врач. Когда был назначен день осмотра, заведующий сказал мне:

– Александра, вези ты. Ты и Москву знаешь, и ребят – без тебя ведь разбегутся.

Первая партия в 17 человек отправилась в Москву душным летним днем. Осмотр тянулся долго. Ребята измучились, проголодались. Что делать? Звоню сестре Марусе. У нее большая отдельная квартира. Объясняю, что со мной семнадцать человек взрослых беспризорников. Прошу пустить нас чаю попить. Она чуть не в обморок:

– Да они же всю квартиру разгромят!

Я ей:

– Обещаю, будут себя держать как воспитанные и благонамеренные дети.

Смеется. Соглашается вскипятить трехведерный самовар, ну, а хлеба, сахара, колбасы мы купим по дороге сами.

С ребятами я договорилась, чтобы держали себя как джентльмены. Дали слово. Двинулись. Звоним в дверь. Маруся открывает. Вижу, бледнеет моя Маруся и опять чуть не в обморок. Однако смело ввожу свою армию. Сразу приглашаю к столу. Маруся, очухавшись, предлагает умыться после уличной духоты. Ребята очень солидно, не спеша, переумывались и стали усаживаться за стол.

Окна открыты, в комнате прохладно. Тут уж Маруся оправилась окончательно и стала хлебосольной хозяйкой. Нарезала ворох белого хлеба, колбасы. Каждому подала стакан чая. Я ребятам морганула, чтоб за чай тут же говорили: «благодарю». Вижу, ребята мои сразу завоевали симпатию Маруси и расстались с нею друзьями».

***

Человек родится совсем маленьким. Растет быстро, для всех заметно. И сам он тоже видит, что старые штанишки ему уже не лезут: значит – вырос.

А часто ли он меняется? Я вот менялась несколько раз, но самым первым и главным был тот, который случился со смертью баб-Сани. Сейчас все, что было до этого, мне кажется невозможно далекими. Я вижу тот мир как будто через бинокль, перевернутый наоборот. Тогда резкие и четкие предметы отдаляются от тебя. Книжка, лежащая под рукой, отодвигается в самый далекий угол бесконечно длинного пространства. А все, что случилось со мной после смерти баб-Сани, представляется совсем близким, недавним. Школу кончила – только что; в институт поступила – вот-вот.

В жизни я делала немало ошибок и всякий раз, одумавшись, знала, что, будь баб-Саня со мной, этого бы наверняка не произошло.

А тогда, сразу, ничто в тетилюбином доме не напоминало о смерти баб-Сани. Не было только ее самой. Зато она часто снилась мне. То мы смотрели вместе телевизор, старенький телевизор с огромной круглой линзой, наполненной водой. Или просто разговаривали о чем-нибудь. Она сидела на своем изогнутом диванчике и терла полотенцем только что вымытые руки. Баб-Саня всегда очень основательно вытирала руки, чтоб не было цыпок, а потом еще смазывала жирным кремом.

А как-то мне приснилось, что я иду по нашей улице и кто-то окликает меня. Я поворачиваю голову и вижу, что из окна небольшого деревянного домика высовывается баб-Саня. Он стоял прямо напротив ее настоящего дома. Баб-Саня улыбается. Я подхожу ближе и вижу, что в руке она держит большой кусок торта «Наполеон».

Ольга Дунаевская *- филолог, журналист. Закончила факультет журналистики Московского государственного университета. Защитила кандидатскую диссертацию. Заведовала кафедрой русского языка и литературы в Московском авиационно-технологическом институте. С 2005 по 2014 г. С 2005 по 2014г. доцент факультета журналистики МГУ Сейчас преподает русский язык в Университете Вашингтона Ли (США). Сотрудничает с различными газетами.*

Член Российского ПЕН-центра. Автор 250 публикаций по вопросам языка, литературы, культуры.

Живет в г. Лексингтон, штат Вирджиния

ГЕННАДИЙ КАЦОВ

ТРАЕКТОРИИ ГАРИ ЛАЙТА

Пространство привязано к координатам, то есть к именам. К именам городов, к географическим названиям, в частном и частичном масштабе – к названию улицы, номеру дома, которые тоже выражают и отражают характер того или иного топоса (как исторического или диалектического места). К триединству X, Y, Z.

И вся наша жизнь, состоящая из перемещений наяву и во сне, связывает траекториями обозначенные в пространстве и во времени географические точки. Они соединяют дом и работу, поездки деловые и на отдых, места встреч и расставаний, движения вперед, назад и возвращения, которые, если слоями наложить разные времена, от рождения до смерти, образуют причудливую картину, узор, орнамент в виде суммы следов. Они и есть, по сути, все, что от человека останется. Если увидеть траектории как в разных направлениях летящие трассирующие пули, то пространство засияет и оживет, словно громадную елку, одетую в мириады ярких лампочек, раскручивают вокруг оси-ствола.

Книга поэта по призванию и адвоката по профессии Гари Лайта называется «Траектории». Как сам автор неоднократно заявлял, этот поэтический сборник – промежуточный итог, собравший тексты за последние лет двадцать. Книга готовилась около пяти лет, и является, в таком случае, тем, что получилось в остатке, после предыдущих, ранее выпущенных в разных издательствах: «Верь» (1992), «Voir Dire» (1993), «Треть» (1995), «Город» (1997), «Возвращения» (2002; 2-е издание, дополненное, в 2005-м).

Все эти книги суть траектории, вернее – «Траектории». И недаром все стихотворения в сборнике не только

датированы (часто под текстом стоят несколько дат: время первого написания, и рядом дата возвращения к нему, окончательной редактуры, между которыми может быть и несколько лет), но и географически определены, сосуществуют с именами городов, в которых возник первый импульс для того, чтобы в дальнейшем покрыть чистый лист бумаги мелкими буквами.

И здесь важно, видимо, понять, какова векторность траекторий, поскольку если речь идет о странствиях-возвращениях, то насколько автор определяет себя в роли путешественника, покинувшего дом, но со своей Итакой в конце пути; или же изгнанника, у которого нет ни возвращения, ни Итаки. Конечно, речь в результате идет о смерти, то есть о пространстве, которое покинули и безвозвратно, но пока автор жив и у него есть возможность перебирать названиями, речь идет все же о перемещениях во все еще становящейся судьбе.

Здесь нельзя не упомянуть, что Гари Лайт в 12-летнем возрасте прибыл с родителями из города Киева в Чикаго, и характерная для любого иммигранта траектория, обозначившая переход из одного мира в иной, его не миновала. Отсюда различные, часто внесенные сразу в названия стихотворений, имена пунктов исхода и схода, как многочисленных знаковых мет собственного пребывания, ставших биографическими: Киев, Москва, Майами, Чикаго, ...

В Чикаго перепад температур,
над городом осадки из сирени...

... Прага, Нью-Йорк, Иерусалим...

Ложится спать Иерусалим,
Не запирая на ночь двери.
Край редких и волшебных зим,
Непредсказуемых метелей.

Очаг негаснущих страстей,
Он низко пал и был возвышен.
Земля смеющихся детей
И привозных неспелых вишен.
Места Голгоф и вечных стен,
Надежд, идей и откровений.
И чтоб он делал без Елен,
Без храмов и всенощных бдений...
Как его таинство корит,
Его величье возвышает.
Вне прокураторских обид
Почил во сне Ерушалаим.

Здесь сплелись оба взгляда на путешествие, ведь понятно, что когда семья Лайта уезжала в 1979 году из СССР, это было изгнанием с невозможной надеждой на возвращение, а когда успешный американский адвокат Гари Лайт вернулся в родной Киев по юридическим делам, это было возвращением, как и у Одисея после тех же 20 лет странствий, к себе домой. Уникальный опыт, приобретенный благодаря и распаду СССР, и фатуму, давшему эмигрантам из страны победившего социализма прожить жизнь трижды: в стране своего рождения, в стране своего второго рождения (иммиграции), и в стране возвращения.

Сразу вспоминается, что Хлебников, Мандельштам, Бродский видели странствия не как самоцель, а как преодоление хронологической разорванности и разобщенности бытия: поэт-странник собой связывает, если хотите – метит, пространство и время, преодолевая, оживляя собой любые границы, то есть государственные, временные и языковые.

Петр Вайль, говоря о поэтике Бродского в приложении к затронутому нами предмету, отметил: «Странствие выполняет по отношению к пространству ту же функцию,

что текст по отношению к белому листу и речь по отношению ко времени: заполняет пустоту».

Таким образом, определив несколько целей в «Траекториях», связанных с разными видами странствий, мы подступаем непосредственно к главному путнику – языку.

Сегодня неоднократно можно услышать: я пишу с голоса. Вроде известной мандельштамовской строки: «Я один в России работаю с голосу, а вокруг густопсовая сволочь пишет....», – только поскромнее, мол, меня, поэта, далеко заводит речь, ибо с некоего – того и оттуда – голоса пишу. Довольно часто такое объяснение звучит, поскольку надо хоть каким-то образом объяснить скверные версификаторские навыки, когда и рифма ничтожна, и неумение держать ритм очевидно (как говорила Ахматова, "я не люблю шестистопный ямб при пятистопном" – это признак неумения владеть поэтическим пером).

И вот «писать с голоса», якобы, все извиняет. Читать это тяжело еще и потому, что любая неряшливо состряпанная вещь вызывает чувство неприязни и отторжение. Просто потому, что недоделано, недострогано, неотшливано, а значит, можно и занозу запросто засадить.

У Гари Лайта есть удивительное качество: даже если нарушается ритм, если рифма диссонансна настолько, что перенапрягается слух, все-равно в большинстве случаев остается ощущение, что все это – фонетическая жизнь слов, обладающая собственной пластикой, которая готова и стремится освободиться от лишних элементов, поскольку она в них не нуждается. Здесь начинает работать представление о форме, для которой артикуляция дифтонгов и открытых гласных и есть фундаментальная языковая задача, а злополучные суффиксы -- единственный способ качественного выражения в речи.

Причем, не столько это решается тропами и аллогизмами, как это модно на протяжении десятилетий, с модернизма и многих «измов», а филигранным,

лирическим, оттого и романтическим, решением уже морфологического, то есть глубинного порядка. Вероятно, это происходит еще и потому, что для Лайта и русский, и английский языки родные, отсюда и кажущаяся простота высказывания, и странность траекторий даже по сюжетной части, словно ищущей свои корни у двух литератур и двух разных традиций.

С неба упала капля
в потоке себе подобных,
ей удалось избежать самолета
и прочих вещей неудобных.
Ее путешествие длилось долго,
не сосчитать –
приблизительно вечно.
Ей довелось быть истоком Волги
и остужать Освенцима печи.
Она была слезой Клеопатры,
вином Прометея,
водой Байкала.
Она не постигла, не стала кратной,
и снова каплей на землю упала.

Есть здесь один любопытный момент, или троп, или исключительность, которым я как-то поделился, как наблюдением, с Лайтом в частной беседе, но он, похоже, не был готов тогда со мной согласиться, хотя и аргументов «против» я не услышал. Нередко в его текстах встречается некий, якобы, зримый, представимый изобразительный ряд, который очевиден лишь на первый взгляд. Это такая визуальная «обманка», несуществующий «25-й кинокадр», в известной степени симулякр.

Вот строчка: «Людские лица, как вода/ скользят по плоскости вселенной/ они порой жеманно-нервны...» Представить это нельзя, хотя некий видеоряд, очевидно ложный, выстраивается. Это интересно и необычно. То

есть, уход от известной темы отражения и Нарцисса – в метафору, подобную метаметафоре в определении К.Кедрова, или в синтез, как видел его Мандельштам:

Блажен, кто называл кремень
Учеником воды проточной.
Блажен, кто завязал ремень
Подошве гор на твердой почве. –

Но и не то, и не другое, поскольку лица-вода скользят по плоскости Вселенной, которая является плоскостью только потому, что нам ничего иного не остается, как доверять в этом автору, хотя мы прекрасно понимаем, что в той игре, которую поэт задумал, плоскость может быть чем угодно – от прозрачного сосуда, наполненного Млечным путем, до бидона, оставленного молочником на крыльце и заполненного на треть или до отказа. В этом мире может быть все, поскольку лица в воде не отражаются, а водой и являются, так до конца ею и не став. Потому что и зеркало – не плоскость, а две реки (Инь и Ян, Гудзон и Ист-ривер, двуликий Янус, отражения дхарм в покрывале Индры), сливающиеся в единое и разделенное одновременно устье:

Новый Нью-Йорк

Этот раненый город простил мне неровность строки,
но ещѐ на подлѐте я понял, что время ушло –
на периметре суши, чьѐ зеркало – обе реки
и реальность порой визуальна – без мыслей и слов...

Своими учителями Гари Лайт называет Генриха Сапгира, Андрея Вознесенского, Евгения Витковского, Дмитрия Кимельфельда, Александра Дольского, с которыми общался лично; Лермонтова, Пастернака, Левитанского, Самойлова, Окуджаву, Высоцкого,

Макаревича... Вряд ли это что-то объясняет, тем более, когда сталкиваешься с такими строками:

Пришли полурифмы и мысли янтарного цвета,
у осени есть про запас вот такие нежданные тени-
сюрпризы,
и если отвлечься, позволить себе ретроспекцию лета,
проступит нелепость поспешных решений о выдачи визы
в края подсознанья, в которых стихи чтут за слабость и
позу...

Нет ни стилистической инерции, ни зависимости от сюжета. Фабула развивается как бы сама по себе, свободно и непредсказуемо, что есть первичные признаки любого творческого зачина. И если вначале этой заметки я говорил о трактoриях, сравнивая их с полетом пули и следом, который она оставляет согласно законам балистики, то теперь мне хотелось бы напомнить вам о том, как падают звезды.

Яркая, стремительно опускающаяся в зрачок звездочета траектория, непредсказуемая и всегда неожиданная в своем явлении. Как жизнь, которая и есть полет, мгновенный и бесконечный одновременно.
Траектория этого полета – вот и все, что видит посторонний глаз, и все, что остается от, непосредственно, самого объекта. В той же степени, в какой и письмо, буквы на листе бумаги отражают, или должны отражать, всю полифонию, все многообразие речи.
И если доводить до логического завершения известную сентенцию И.Б.

От всего человека вам остается часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи, –

то не правильней ли было бы сказать: «траектории». Траектории речи и есть письмо, то, что в эту секунду

прочитывают глаза и то, что зеркально отражает роговица. Сумма траекторий и есть судьба, и есть книга, в которую судьбы записаны и в которую поэты записывают траектории собственных полетов.
Одна из таких книг называется «Траектории». Что может быть загадочней, одновременно понятней и проще?

***

Сборник стихов Гари Лайта «Траектории» вышел в серии «Современная литература зарубежья» издательства The New Review Publishing, NY

Геннадий Кацов *в 1980-х был одним из организаторов легендарного московского клуба «Поэзия» (с 1987 по 1989 годы его директор) и участником московской литературной группы «Эпсилон-салон».*

В 1989 году эмигрировал в США, где сделал успешную карьеру в области журналистики.
Вернулся к поэтической деятельности после 18-летнего перерыва в 2011 году. Автор семи книг, включая экфрасический поэтический проект «Словосфера», в который вошли 180 поэтических текстов, инспирированных шедеврами мирового изобразительного искусства, от Треченто до наших дней.

Его поэтические сборники «Меж потолком и полом» и «365 дней вокруг Солнца» вошли в лонг-лист «Русской Премии» 2014 и 2015 годов соответственно; «Меж потолком и полом» был номинирован на Волошинскую премию по итогам 2013 года. В том же году подборка стихов Геннадия Кацова вошла в шорт-лист Волошинского конкурса.

Является одним из составителей и авторов антологии «НАШКРЫМ», выпущенной в американском издательстве KRiK Publishing House в 2014 г.

ПАВЕЛ МАТВЕЕВ

ПАЛИСАНДРОВО ВРЕМЯ

Штрихи к литературному портрету Саши Соколова

Иные истории, начавшись как трагедия, длятся как комедия, завершаются же как фарс. Обратное случается существенно реже.

П. А. Дальберг

Стоял ноябрь, а может, март. Птицы летели с юга на север, с запада на восток, туда-сюда и как попало. После безвременной кончины Генералиссимуса и минуло-то всего ничего, а вон как оно всѐ переменилось.
Зима в тот год выдалась, как говаривало простонародье, сиротской. Морозы то и дело сменялись оттепелями, оттепели характеризовались длинными неприлично длинными для имперской столицы – сосульками. По улицам Эмска, припахивающего онучами, овчиной, карболкой и квашеной капустой с укропом и тмином, звенела капель и штопорили метельные крутни. Хрустели малосольные огурцы.

В начале девятого вечера Лаврентий Берия, генерал-генерал философских войск, ветеран Ордена Часовщиков и Кардинальный хранитель настоящего времени, взвивался, кручинясь, по ступенькам винтовой внутрибашенной лестницы Спасской башни. Закрутившись до конца, толкнул входную, бронѐй одетую дверь, что вела в каземат с часовым механизмом. Вступив, едва не задохнулся от приторного амбре особого часового масла, сработанного на маслобойнях Поволжья и показавшегося в сей миг тошнотворно застойным.

Время не радовало своего хранителя ароматами. Не радовали его и соратники по ордену, все эти Маленковы, Ворошиловы и примкнувшие к ним Шепиловы, клевреты и рептилии, совершенно распоясавшиеся после того как

Иосиф их – нас – покинул. Возомнившие о себе чего не следовало, а чего следовало, не могущие возомнить, тем паче осознать, — принялись травить его, Лаврентия, обвиняя то в неуплате масонских членских взносов, то в манкировании служебными обязанностями, то… Не имея возможности образумить не вовремя зарвавшихся временщиков, Лаврентий не мог изобрести ничего более приличествующего утекающему моменту, как препоручить себя в ведение Хроноса. Ибо терпению Хранителя наступил хронический предел.

Срезав с часового механизма какой-то сыромятный ремень, ибо припасѐнную заранее – на оный потребный случай – верѐвку, разумеется, слямзили, – генерал-генерал изготовил из него петлю и надел одним концом себе на шею.

В двадцать сорок две, протиснувшись в замочную скважину, вышел на циферблат. Утвердившись на цифре «VIII», свободным концом набросил ремень на сошедшиеся в тот миг стрелки – часовую и минутную – и заученным жестом, каким прежде затягивал узел галстука, затянул. После чего, подумав о позабытом некстати где-то по дороге пенсне и. удивившись, что втайне – Исподтишка, исподволь – пеняет себе за эту досадную, приключившуюся на пороге небытия, оплошность, умогласно возгласив: «Палисандр, Палисандр, дерзай же!» – шагнул в него, инстинктивно, по-детски всплеснув руками.

Суровый грай – тучи взвившегося – озабоченного – растревоженного – возмущѐнного скудным пайком кремлѐвских помоек воронья – был ему ответом.

Для чего ты нас оставил, генацвале…

***

Кто читал – уже всѐ понял.
Кто ничего не понял – читайте дальше.

Последний призыв Берии был обращѐн к его внучатому племяннику – Палисандру Дальбергу, урождѐнному Дальбергия, подающему большие надежды мегрельскому отроку с сибирским корнями из числа так называемых «кремлѐвских сирот», — главному персонажу — герою — антигерою — возможному alter ego — писателя Саши Соколова из сочинения его «Палисандрия», большинством его поклонников ошибочно — недостаточно обоснованно — воспринимаемым только как роман.

Недавно исполнилось тридцать лет со времени опубликования «Палисандрии», и эта круглая дата подвигла меня на то, чтобы поведать тем, кому это интересно, об обстоятельствах появления этой книги и о том, почему она является в истории российской литературы явлением абсолютно уникальным. Равно и беспрецедентным.

***

Начнѐм, как водится. ab ovo.

Написав в начале 1970-х свой первый роман – «Школа для дураков», Соколов прекрасно понимал, что не только сюжет этого сочинения, то есть содержание, но в первую очередь используемые им лексика, композиция, стиль — то есть форма — категорически не соответствуют тому, что считалось приемлемым для публикации в Советском Союзе, и ни малейших к тому усилий не предпринимал. Оказавшись же в октябре 1975 года на Западе, он довольно быстро издателя для своего произведения нашѐл. Им стало ныне легендарное американское издательство «Ardis», созданное в 1971 году в городке Анн Арбор, что в штате Мичиган, супружеской парой американских филологов-славистов – Карлом и Эллендеей Профферами. Издательство Профферов с самого начала специализировалось на выпуске той русскоязычной литературы, которая или несправедливо

замалчивалась на родине еѐ авторов, то есть в Советском Союзе, или же могла представлять интерес для американцев, изучающих русский язык и российскую изящную словесность.

Особое место в издательском портфеле «Ardis'a» заняли произведения российско-американского литератора Владимира Набокова, которые Профферы начали с большим для себя успехом переиздавать, в существенной степени сделав на имени Набокова имя своему издательскому предприятию. Соответственно, они всячески прислушивались к мнению автора «Лолиты» и «Ады», и если мистер Набоков из далѐкой от штата Мичиган Швейцарии рекомендовал им обратить внимание на тот или иной текст – всегда прислушивались к его советам. Когда в «Ardis'е» объявилась пришедшая по почте рукопись никому прежде не ведомого новоприбывшего из СССР в Австрию Саши Соколова, Профферы переправили еѐ для ознакомления Набокову, и тот выдал ей весьма лестную характеристику, назвав «обаятельной, трагической и трогательной» и разрешив использовать его отзыв при рекламной раскрутке книги.

С такой «путѐвкой в жизнь» писательская карьера Соколова (в сентябре 1976-го он перебрался из Европы в США) стартовала на Западе как ракета с американского космодрома на мысе Канаверал. На русском языке «Школа для дураков» вышла в 1976 году, на английском – в переводе самого издателя Карла Проффера – в следующем, 1977-м. Затем последовали издания в переводах на немецкий, шведский, нидерландский, итальянский, польский и сербский. О Соколове стали говорить и писать на Западе как о ярчайшем представителе «новой русской прозы», полностью свободной от советских идеологических штампов и присущего русским писателям навязчивого морализаторства и ставящей форму выше содержания.

Окрылѐнный успехом, Соколов в 1980 году опубликовал вторую книгу – экспериментальный роман «Между собакой и волком», но еѐ судьба сложилась довольно неудачным образом: книгу мало кто сумел понять, тем более оценить по достоинству. В течение первых лет после выхода ни на один иностранный язык второй роман Соколова не переводился вследствие невозможности этого исходя из особенностей текста.

И вот после успеха своего первого романа и неуспеха романа второго – Саша Соколов приступил к сочинению романа третьего – по замыслу автора, ещѐ более новаторского, чем предыдущий, но на сей раз уже не столько по форме, сколько по содержанию.

***

Обзавѐлся Саша Соколов в Америке не только издателем, но и своим персональным биографом. Им стал американский славист-набоковед, профессор Южно-Калифорнийского университета в Санта-Барбаре – Дональд Бартон Джонсон. Российскому образованному читателю мистер Джонсон знаком прежде всего как автор книги «Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov» (Ann Arbor: Ardis, 1985)[1].

Будучи признанным спецом по Набокову, профессор Джонсон, по-видимому, воспринял молодого русского писателя, волею Судьбы оказавшегося на других берегах, как продолжателя и развивателя любезной его сердцу «набоковской линии» в российской изящной словесности. С самого начала пребывания Соколова в США Джонсон обратил на него пристальное внимание и в течение длительного времени принимал в его писательской судьбе деятельное участие – например, был автором предисловия к первому английскому изданию

[1] В переводе на русский выпущена под названием «Миры и антимиры Владимира Набокова» (СПб.: Симпозиум, 2011).

романа Соколова «Школа для дураков»; да и ко второму тоже[2].

В 1987 году профессор Джонсон составил и издал первую английскую конспективную биографию Саши Соколова[3]. В ней биограф довольно подробно рассказывал о всех трѐх до того времени написанных и опубликованных книгах Соколова, причѐм последней на тот момент, третьей – «Палисандрии» – в сочинении мистера Джонсона было отведено места едва ли не больше, чем обеим ей предшествовавшим, взятым вместе.

По мнению профессора Джонсона, основным стимулом к написанию «Палисандрии» послужило для Соколова желание сделать этакую «Анти-Лолиту», «Лолиту»-наоборот – то есть нечто прямо противоположное роману Набокова, заменив набоковскую нимфолепсию соколовской геронтофилией. При этом, согласно мистеру Джонсону, Соколов мечтал создать новую эротическую лексику, а как сверхзадачу ставил перед собой – написать роман, который бы покончил с романом как жанром[4]:

«Ключевым его приѐмом должна стать пародия, пародия на многочисленные псевдолитературные жанры, наводнившие массовый рынок: политический триллер,

---

[2] *Sokolov Sasha*. A School for Fools. Ann Arbor: Ardis, 1977. Translated from Russian by Carl R. Proffer, introduction by Donald Barton Johnson; 2nd edition: New York: Four Walls, Eight Windows, 1988.

[3] *Johnson Donald B*. Sasha Sokolov: A Literary Biography. Canadian-American Slavic Studies. Vol. 21. № 3-4. 1987. P. 203–230.

[4] См.: *Джонсон Дональд Бартон*. Саша Соколов. Литературная биография // Соколов Саша. Палисандрия. М.: Глагол, 1992. С. 281. Авторизованный перевод с англ. Виктории Полищук. Далее: *Джонсон*, с указанием номера страницы.

приключенческий роман, порнографический роман и прочее. Особенно раздражало Соколова в эмигрантской литературе обилие мемуарной и документальной прозы, наполненной самообманной многозначительностью и манией величия, обилие, вытеснившее произведения истинно творческие, сотканные фантазией художника»[5].

Ну, о том, чтобы покончить с романом как с жанром, мечтали многие литераторы, и Соколову пальма первенства в этом намерении не принадлежит. Однако проблема создания новой лексики – совершенно не обязательно именно эротической – представляется задачей не менее сложной, нежели уничтожение романа как жанра, и куда более ответственной. Поскольку справиться со сверхзадачей никому ещѐ не удалось.

Сам Саша Соколов о том, как возник замысел «Палисандрии» и с чего вообще вся эта история началась, сейчас вспоминает примерно так же, как четверть века назад писал его американский биограф:

«Прибыв на Запад, ознакомился с модной книжной продукцией. Котировались детективы, шпионские и псевдоисторические романы, эротика, мемуары беглых специалистов, воспоминания Светланы (Аллилуевой. – ***П***. ***М***.), обличения Солженицына, соображения кремленологов. Уровень читательских вкусов вызывал чувство здорового сарказма, который и стал горюче-смазочным материалом для новых дерзаний. ―Палисандрия" – пародия на произведения всех упомянутых жанров. Чего многие до сих пор не поняли»[6].

---

[5] Там же.

[6] Отсюда и далее: все закавыченные цитаты, обозначающие прямую речь Саши Соколова, взяты из его эксклюзивного интервью, данного писателем сайту colta.ru 13 марта 2015 года.

О том же и биограф Соколова – Дональд Бартон Джонсон:

«–Палисандрия" – это толкование Соколовым субъективного характера истории. Пародийный, причудливый язык его странного, эксцентричного героя, эдакое своеобразное лингвистическое барокко, сложился под влиянием нарочито архаичного жаргона университетских друзей (в период обучения Соколова в МГУ. – ***П. М.***), подражавших старой русской аристократии. <…> И основные персонажи выступают здесь как некие стилистические символы»[7].

Действительно, населяющие «Палисандрию» персонажи – все эти брикабраковы, кербабаевы, оресты, опять же, модестовичи, де сидороффы и прочие мелкие бесы да и в первую очередь сам главный персонаж – Палисандр Александрович Дальберг – изъясняются на столь странном для современного уха, настолько *партикулярном* наречии русского языка, присущим оному до пушкинской поры, что иной раз просто диву даèшься – как это они умудряются понимать не только сами себя, но и друг друга.

Как утверждает профессор Джонсон, начиная работу, писатель Соколов «никогда не задумывает конкретных героев, как и не разрабатывает заранее сюжетную канву романа; для него самого часто оказываются неожиданными коллизии, в которые попадают его герои. Отчасти поэтому, а также из суеверия Саша никогда не говорит ни о том, что он пишет в данный момент, ни о своих творческих планах»[8].

---

[7] *Джонсон*. С. 281.

[8] Там же.

Правило похвальное, что и говорить. У многих писателей однажды озвученные творческие замыслы имеют странную особенность никогда не реализоваться – и особенность эта тем страннее, чем более широко о творческих планах объявляется. Не иначе, коллеги по перу и клавиатуре гадят – то есть сглазят.

***

Но всѐ же — откуда антигерой?

Главный персонаж «Палисандрии» – внучатый племянник Лаврентия Берии и внук Григория Распутина, сам себя скромно именующий «рядовым ключником на каторге эротических буйств», — откуда он взялся? Был ли реальный прототип? Встречался ль автору на жизненном пути – до или, быть может, уже после написания?

Саша Соколов:

«Это – тот самый образ, о котором так долго твердили большевики, то есть соцреалисты. Он – собирательный. Автор был вхож в Дом на набережной – как в узком, так и в переносном смыслах, – приятельствовал с молодѐжью из привилегированных семейств. Некоторые из тех мажоров являлись баловнями большой руки, манеры имели яркие, экстравагантные, в порывах, в капризах, в страстях своих бывали неуѐмны, непредсказуемы, чем и подкупали. Роскошь общения с ними не переоценить, как ни старайся. Без этого опыта Палисандра б не сталось».

Образ, стало быть, собирательный. Реального прототипа не имеющий. Поверим автору на слово… пока.

* * *

От момента возникновения у писателя замысла новой книги до начала его осуществления всегда проходит некоторое время. Чаще всего оно бывает заполнено

занятиями весьма приземлѐнными – поисками денег для поддержания штанов во время предстоящей работы.

В цивилизованных странах эта проблема решается с помощью разветвлѐнной системы грантов, предоставляемых некоммерческим писателям, работающим «на чистое искусство», всевозможными общественно-благотворительными и учебно-образовательными организациями. Для того чтобы тот или иной претендент на создание шедевра мог претендовать на финансирование своего проекта, ему необходимо всего ничего — грамотно составить заявку и присовокупить к ней какой-либо фрагмент текста (если имеется) или хотя бы сколько-нибудь внятный его синопсис (если работа и не начиналась). Так поступают все, кто не стремится к тому, чтобы сидеть за компьютером после мытья тарелок в близлежащей пиццерии иди творить нетленку во время, свободное от сбора апельсинов на калифорнийских плантациях.

Так поступил в 1980 году и Саша Соколов. Он обратился с просьбой о предоставлении гранта к Канадскому Совету по изящным искусствам, и тот удовлетворил его прошение – несмотря на то, что писатель отказался представить на рассмотрение заявки даже часть рукописи, ограничившись сверхкраткой аннотацией: «Философско-футурологический роман с элементами политического памфлета. Действие происходит в начале XXI века в странах Европы, в России, Канаде и США»[9].

И Соколов приступил к работе.

* * *

Вчерне рукопись «Палисандрии» была закончена в феврале 1983-го, однако ещѐ более полугода Соколов

[9] Там же. С. 281–282.

продолжал дорабатывать еѐ, пока в декабре не отправил своим издателям – в «Ardis»[10].

Дела в издательстве Профферов в ту пору обстояли далеко не лучшим образом. Это было связано с тем печальным обстоятельством, что Карл уже более года был тяжело болен раком, и сколько ему оставалось, не знал никто, включая лечащих врачей. Как следствие, Эллендея была целиком поглощена заботами, связанными с болезнью мужа; все издательские дела были отодвинуты на потом, так что сроки возможной публикации нового романа Соколова изначально были весьма неопределѐнными. Кроме того, имелись и некоторые препятствия сугубо субъективного характера.

Ознакомившись с присланным манускриптом, Профферы были не то чтобы откровенно шокированы его содержанием, но испытали некоторое недоумение – настолько то, что они прочитали, не вязалось с прежним, годами формировавшимся в их сознании писательским имиджем Соколова. Имелись также и привходящие обстоятельства из разряда *real politic*. Саша Соколов:

«Профферы старались не слишком портить отношения с Советами. Моим издателям было важно хоть раз в году посещать Советский Союз, поддерживать связи с литераторами. Бизнес, знаете ли… Подчас за дурное поведение визы не выдавались. И вдруг – ―Палисандрия‖! От меня — задушевного, по их мнению, лирика – подобного не ждали. Соколов ударился в политику! Нехорошо!.. Смешались. Стали думать, как быть. Ритм публикации замедлили».

Несмотря на случившееся лѐгкое замешательство издателей, противоречий на личном уровне между ними и их автором не возникло. Однако путь «Палисандрии» от

[10] Там же. С. 283, 284.

стадии перепечатки рукописи на пишмашинке до вывоза тиража и типографии составил почти пятнадцать месяцев – по издательским стандартам свободного мира срок не просто большой, но огромный. Обычно принятая к публикации рукопись проделывает его за два-три, максимум четыре месяца. Столько требуется на то, чтобы изготовить набор, сверстать макет, пропустить его через корректуру и заслать в типографию. Попав на Запад, советские писатели-эмигранты, привычные к длящейся годами коммунистической издательской тягомотине, поначалу неизменно испытывали от этой реальности сильнейший стресс, проходивший лишь по мере того как их библиография пополнялась всѐ новыми и новыми наименованиями выпущенных там книг.

Как бы то ни было, пока «Палисандрия» отлѐживалась в издательском сейфе, еѐ автор продолжал стилистическую правку текста, шлифуя его, как ювелир любимое драгоценное изделие, и доводя до совершенства там, где, казалось бы, оно уже и так достигнуто. Но Соколов был уверен в том, что пределов совершенству не существует, и, будучи по природе своей убеждѐнным перфекционистом, ставил перед собой задачу сделать работу не просто хорошо, но – лучшим из всех возможных образом.

***

В общей сложности Соколов работал над манускриптом более четырѐх лет – с 1980-го по 1984 годы – сначала в знойной Калифорнии, в Пасифик-Гроув, затем в более умеренном, европейском на вид и глубоко провинциальном по своей сути Вермонте. Работа протекала «вдали от шума городского», на природе, – благодать, да и только.

Ныне, вспоминая те стародавние времена, Соколов говорит:

«В те годы автору сопутствовала Фортуна. Всѐ складывалось как нельзя замечательней. Даже деньги водились. Бывает же… А какие знакомства! Что ни друган, то — гений…»

Да уж, не без того. Друганы у нового «вермонтского отшельника», в отличие от «отшельника старого» не чуравшегося проводить время в компании симпатичных ему людей не только за письменным столом, в те времена водились и в самом деле выдающиеся — например, Василий Аксѐнов.

В вышедшем в 1987 году своѐм третьем написанном в Америке романе «В поисках Грустного Бэби» Аксѐнов вспоминал о том, как летом 1984-го они с женой Майей проводили время в обществе Соколова и его тогдашней американской подруги Карин Лэндалл, и описывал их провинциальную американскую жизнь:

«Карин работает во французском ресторанчике. Саша в основном пишет, иной раз колет дрова, прокладывает лыжню, словом, почти как граф Толстой. За сущие пустяки они снимают две комнаты в мансарде дома, стоящего на отшибе в густом сосновом лесу. Хозяева дома представляют собой что-то вроде коммуны стареющих американских хиппи шестидесятых годов»[11].

Тогда же, летом 1984-го, Аксѐнову довелось стать свидетелем и первого появления на людях «кремлѐвского сироты» – Палисандра Дальберга:

«Однажды вечером мы отправились через перевал Роксбери-Гэп в гости к профессорам Володе и Лиде Фрумкиным. Там собралась интеллигенция на литературные чтения. В программе вечера – Саша Соколов с отрывками из нового романа ―Палисандрия”. Автор

[11] *Аксѐнов Василий*. В поисках Грустного Беби [sic!]. New York: Liberty Publishing, 1987. С. 268.

основательно волновался: кажется, первое чтение на публике, представление пятисотстраничного романа, которому и отданы были вермонтские годы.

<…> Отрывок представлял из себя кусок метафорической прозы, полной языковой игры.

Поразило многих, насколько глубоко внутри русской культуры и языка находится этот человек, который иной раз месяцами не видит ни одного русского, у которого и жена американка, который и сам уже больше говорит по-английски. ‒Я совершенно не боюсь отрыва от языковой стихии, – говорит Саша Соколов. – Мой русский никогда от меня не уйдѐт”»[12].

Приведя это высказывание Соколова, Аксѐнов, тогда уже подумывавший, а не попробовать ли ему перейти в своих писаниях на язык аборигенов страны вынужденного пребывания (что он с определѐнным успехом и осуществил несколькими годами позднее, написав по-английски роман «The Yolk of the Egg» – «Желток яйца»), — тем самым констатировал, что окружающие условия чужеродной языковой среды не властны над писателем русского языка и не могут изменить его мировоззрение и способ самовыражения, если сам он того не захочет.

К своему старшему по возрасту коллеге, в отличие от иных бывших советских официальных литераторов, Соколов всегда относился с большой симпатией. Аксѐнов мельком упомянут им в «Палисандрии» – под собственным именем, во вполне благожелательном, хотя и слегка ироничном контексте он назван «порядочным

[12] Там же. С. 269.

иллюзионистом пера»[13]. И это скорее не комплимент, но констатация реальности.

***

В том же 1984 году, в преддверии издания «Палисандрии» в виде книги, небольшие фрагменты из романа были опубликованы в двух ведущих журналах Русского Зарубежья – парижском «Континенте» и нью-йоркском «Время и мы»[14].

Ознакомившись с их содержанием, умеющая читать эмигрантская общественность не на шутку возбудилась. Но если у редактора-издателя «Времени» Виктора Перельмана была репутация волюнтариста и субъективиста, к совести которого взывать совершенно бессмысленно, – всем читателям (и особенно писателям) было известно, что в своѐм журнале Перельман публикует только то, что он хочет, ни от кого при отборе материалов не зависит и никому не подчиняется, – то на главного редактора «Континента» Владимира Максимова ревнители «моральных норм» обрушились с попрѐками, что он-де предоставляет страницы своего уважаемого в эмиграции журнала чѐрт знает кому – какому-то графоману и едва ли не порнографу Соколову. Максимов, отличавшийся носорожьим упрямством всегда, когда его, как ему казалось, пытались к чему-то склонить или принудить, обозлился. А обозлившись, взял себе за правило всякий раз, когда его принимались доставать очередные отвергнутые «Континентом» графоманы — что он-де

---

[13] *Соколов Саша*. Палисандрия. М.: Глагол, 1992. С. 227. Далее *Палисандрия*, с указанием номера страницы.

[14] *Соколов Саша*. Книга Дерзания. Из романа «Палисандрия» // Континент (Париж). 1984. № 42. С. 65–95; *Соколов Саша.* Палисандрия. Отрывок из романа // Время и мы (Нью-Йорк – Иерусалим – Париж). № 77. 1984. С. 71–108.

одних публикует, а других заворачивает, — пресекать подобные наезды репликой: «Мы печатаем всех, кто этого достоин. Я же вот напечатал, к примеру, Соколова…»

По-видимому, эта оригинальная аттестация стала известна Соколову прежде, чем в гранках «Палисандрии» им была поставлена последняя точка, и у главреда «Континента» вскоре появилась возможность, раскрыв книгу, прочитать на одной из еѐ страниц следующее:

«Прилѐг полистать новомодного романиста Максимова, выступающего с острой критикой строя, но вчитаться не довелось: мухи, мухи – окошки-то все нараспах, беда, а закрыть – задохнешься»[15].

После чего Владимиру Емельяновичу ничего не оставалось, как только отбросить с омерзением книгу и, воздев руки к потолку, возопить хорошо знакомым его подчинѐнным дурным голосом: «Ну вот за что? За что они меня так ненавидят?! Ведь я ж им, падлам, ничего хорошего не сделал!!!» Своих многочисленных и политических и эстетических противников Максимов имел обыкновение именовать коротко и без перехода на личности – «они». Он полагал, что они сами должны понимать, кого из них он имеет в виду всякий раз, когда они его незаслуженно, как ему представлялось, обижают.

***

Пока Саша Соколов писал свой третий роман, на его родине происходили события, вызывавшие пристальное внимание окружающего Советский Союз цивилизованного мира.

Девятого ноября 1982 года заснул, чтобы десятого не проснуться, престарелый маразматик Леонид Брежнев. Сменивший его на троне правителя Советской империи бывший начальник тайной полиции Юрий Андропов процарствовал всего пятнадцать месяцев, причѐм пять

[15] *Палисандрия.* С. 144.

последних провѐл на больничной койке, заживо разлагаясь от общей интоксикации своего гэбистского организма.

Все эти события имели к роману Соколова самое непосредственное отношение, поскольку Юрий Андропов был одним из его персонажей. Выведенный под подлинной фамилией и именем, – но с отчеством не Владимирович, а Гладимирович (Глодающий мир?), – Андропов играл в истории фантастической жизни Палисандра Дальберга весьма важную роль. Поскольку интрига романа во многом строилась на взаимоотношениях двух этих персонажей – выдуманного Соколовым полностью Палисандра и выдуманного частично – как художественный образ – Андропова, его исчезновение из реальной действительности могло «неожиданным образом разрушить стройную логику повествования и сделать сомнительной ожидаемую актуальность книги»[16].

Поэтому не просто так, как утверждает биограф Соколова профессор Джонсон, тот в процессе работы над романом провозглашал в компаниях своих приятелей тосты за здоровье Андропова – чем, разумеется, эпатировал антикоммунистически настроенных советских эмигрантов, не понимавших истинной подоплѐки такого вызывающего его поведения[17].

Как бы то ни было, провозглашаемые Соколовым здравицы Андропову не помогли: в феврале 1984 года прототип помер. Однако не только Андропов, но и его преемник Константин Черненко последний из череды кремлѐвских геронтократов эпохи «гонок на лафетах» – сыграл в ящик в марте 1985-го, за несколько дней до того как «Палисандрия» вышла из типографии.

---

[16] *Джонсон*. С. 284.

[17] См.: Там же.

***

Двадцать четвѐртого сентября 1984 года из Анн Арбора пришла скорбная весть о кончине Карла Проффера, которому за три недели до смерти исполнилось сорок шесть лет.

Заслуги этого американца перед российской литературой XX века – поистине неоценимы. Он и его жена Эллендея, обладавшие мизерными финансовыми возможностями, но огромным персональным духовным и энергетическим потенциалом, в течение двух десятилетий, предшествовавших краху и гибели Советского Союза, совершили подвиг, имя которому – спасение чужой им по всем статьям словесности от целенаправленного еѐ уничтожения теми, для кого она вроде бы должна была быть своей.

Память Карла Проффера почтили проникновенными некрологами ведущие писатели-эмигранты. Был в их числе и Саша Соколов, который «никогда не забывал, какие невероятные усилия прилагали Профферы, чтобы проложить его книгам дорогу к читателям»[18]. Соколов отдал дань памяти своему издателю в надгробном слове «Альфа Ардиса», которое он прочитал на организованной в те дни в Нью-Йорке поминальной службе по Карлу[19].

***

Наконец «Палисандрия» вышла. Произошло это в последних числах марта 1985 года. Через несколько дней, в апреле, в университете Южной Калифорнии состоялась конференция «Русские писатели в изгнании». Принявший в ней участие Соколов оказался в центре внимания; там же

[18] Там же. С. 285.

[19] См.: *Соколов Саша.* Альфа Ардиса // Время и мы. № 79. 1984. С. 243–245.

учѐной публике была презентована только что вышедшая его третья книга.

Соколов произнѐс на конференции доклад, озаглавленный по-французски «Palissandr – s'est moi?» («Палисандр – это я?»), который профессор Джонсон понял как «изящное толкование его отвращения к сюжету как таковому и весьма остроумное построение на тему общности литературного героя и его автора»[20]. О том, как поняли выступление Соколова иные участники конференции, можно строить предположения, но сам этот текст многие поклонники «Палисандрии» воспринимают как очевидное авторское послесловие к роману – дабы проставить, как говорится в подобных случаях, точки над «è» на предмет возможного полного или хотя бы частичного отождествления личности героя с личностью автора[21].

С этого момента «Палисандрия» зажила своей собственной, от автора уже никоим образом не зависящей, жизнью. Палисандр Дальберг вырвался на свободу из тесных для его могучего телосложения рамок книжных страниц и бурный поток из опрокинутого им во время этого бегства плескалища заполнил извилины серого вещества в черепных коробках тех, кто имел неосторожность прикоснуться к истории его фантастической жизни без достаточной к тому подготовки.

***

Как водится, после выхода привлекающей внимание книги в периодике Русского Зарубежья появилось несколько рецензий – местами забавных, местами невнятных, а то и парадоксальных, по-видимому,

---

[20] *Джонсон*. С. 286.

[21] См.: *Соколов Саша*. Palissandre: c'est moi // Синтаксис (Париж). 1987. № 18. С. 196–202.

пародирующих обозреваемое в них сочинение[22]. Но, в общем, реакция на «Палисандрию» оказалась далеко не столь бурной, как на то рассчитывал еѐ автор:

«Реакция русской прессы была вялой, что не огорчило, а удивило. Конкретных отзывов не помню, но создалось впечатление, что все на роман обиделись – и демократы, и монархисты, и либералы. А вот в рядах славистов сделалось оживление, начали приглашать в свои высокие универы на предмет выступления».

Ну, это-то естественно: в мире чистогана любое культурное событие только тогда признаѐтся событием, когда оно напрямую сопряжено с возможностью хотя бы слегка на нѐм нагреться – в прямом смысле этого понятия. Примерно то же происходило вокруг Соколова и в конце 1970-х, после выхода в английском переводе его первой книги, хотя и не вполне для него успешно:

«Когда в 1977-м засияла звезда ―Школы" в переводе Карла (Проффера. – ***П. М***.), две голливудских фирмы решительно заинтересовались правами на экранизацию. Именно в тот момент в ―New York Times Books Review", в сѐм влиятельнейшем еженедельнике, возникла не то чтобы негативная, но – пренебрежительная рецензия. Инцидент был исперчен, и никто – ни Голливуд, ни большие издательства – ―Школой" более не интересовался».

Как бы то ни было, русское издание «Палисандрии» никаких кардинальных перемен в жизнь еѐ автора не

[22] См.: *Сапгир Кира*. Дальний брег Палисандра // Континент (Париж). 1985. № 46. С. 385–389; *Вайль Пѐтр*, *Генис Александр*. Сослагательно наклонение истории // Грани (Франкфурт-на-Майне). 1986. № 139. С. 159–164.

привнесло. Да и какие он мог поджидать перемены? Надеяться на улучшение материально-финансового состояния, имея дело с таким издательством, как «Ardis», не просто самонадеянно – нелепо. Саша Соколов:

«Коммерческий успех и ―Ardis" – вещи были несовместные. Профферы считали раскрутку авторов ниже своего достоинства, их главные доходы поступали не с базара».

Кто бы сомневался.

***

В то время, пока тянулась история с ожиданием выхода русского издания «Палисандрии», Соколов начал предпринимать усилия по привлечению внимания к своему новому сочинению американских издателей. Для этого значительные его фрагменты были переведены на английский, снабжены необходимыми для их понимания аборигенами комментариями и посредством стандартной веерной рассылки разосланы по наиболее известным американским – в первую очередь нью-йоркским – издательствам. Однако попытки эти успеха не имели. Был подписан всего один контракт на перевод — и то не на английский, а на немецкий язык[23]. Который, однако, так никогда и не был выполнен.

С этим переводом приключилась довольно занятная история. Случилось так, что взявшийся переводить «Палисандрию» на немецкий знаменитый западногерманский славист Вольфганг Казак в разгар работы отказался от еѐ завершения – и вот по какой причине:

«Ко мне в Вермонт явился профессор Вольфганг Казак и сообщил, что больше не будет переводить ―Палисандрию" и расторгнет договор с издательством – которое, кстати, уже выдало мне аванс, – а издательство

[23] *Джонсон*. С. 285, 286.

престижнейшее, интеллигентное, звучит гордо: ―Сюркамп”. ―Что – много эротики?” – молвил я. ―Да при чѐм тут, — воскликнул Вольфганг, – эротика! Ужас – в том, что у вас в общественном туалете исполняют Бетховена!! Экое варварство!..”»

До глубины души возмутивший маститого профессора Казака, прошедшего через Восточный фронт, советский плен и побывавшего на архипелаге ГУЛАГ, эпизод – это, разумеется, имеющееся в романе виртуозное стихотворение, сочинѐнное штафиркой-следователем, общающимся с находящимся под арестом Палисандром по служебной надобности — как с основным подозреваемым по делу о покушении на Брежнева:

На некотором вокзале
Спросил: «Где два нуля?»
Мне молча указали
На дверь из хрусталя.

Войдя туда, я ахнул,
Поверьте, не спроста:
Там «Лунную сонату»
Квартет играл с листа.

Росли там розы в вазах,
В вазонах розан рос,
Сиденья ж унитазов
Покрыл гагачий ворс…

Ну и так далее.

«Экий неисправимый эстет!» – подумал писатель Соколов по адресу пузырящегося негодованием переводчика Казака, не проявлявшего, однако, признаков кручины касательно возможного принудительного отторжения ранее полученного тем аванса.

***

Однако рано или поздно всякому того достойному писателю улыбается удача.

«Палисандрией» заинтересовались в нью-йоркском издательстве «Grove Press», созданном живой легендой американского издательского мира – Барни Россетом, человеком, в далѐком 1962 году, после знаменитого «Чикагского процесса издателей» – «За право читать, что вздумается, и писать что хочется», связанного с борьбой против запрета на книги Генри Миллера, – свалившим американскую цензуру. В 1986 году «Grove Press» заключило с Соколовым договор на перевод и публикацию «Палисандрии» на английском языке. Перевод был осуществлѐн Майклом Генри Хаймом, о профессионализме которого Соколов отзывается с изрядным уважением, хотя и утверждает, что с результатами его работы знаком неважно:

«Хайм – голова. Переводит с языков числом невероятным, в работе несколько книг параллельно. Поэтому у него на ―Палисандрию" ушли годы. Перевод его практически не читал. Адекватные переводы требуют специалистов тонкой душевной организации».

***

От подписания контракта до выхода книги прошло примерно три года. Это было вызвано не только с загруженностью работой мистера Хайма, но также и с тем обстоятельством, что как раз тогда в издательстве «Grove Press» случился серьѐзнейший конфликт, связанный со сменой его владельца. Контроль за творческим процессом перешѐл к новым людям, довольно слабо разбирающимся в литературе, а возникшие из-за этого сложности не могли не отразиться на всѐм процессе функционирования бизнеса. Однако со временем всѐ как-то устаканилось, и в сентябре 1989 года «Палисандрия» вышла в английском

переводе. При этом она сменила имя и стала называться – «Астрофобия»[24].

Идея смены названия принадлежала Саше Соколову, резонно полагавшему, что начертанное на обложке латиницей слово «Palisandria» скажет даже образованному американскому читателю не больше, чем в своѐ время могло сказать просвещѐнному читателю советскому буквально переведѐнное на русский название сэлинджеровского романа «Catcher in the Rye».

На вышедшую книгу последовала реакция в прессе. И снова она оказалась совсем не такой, как на то надеялся автор:

«С ―Астрофобией", в отличие от ―Школы", получилось ещѐ смешней. В том же еженедельнике ―New York Times Books Review" подсуетились напечатать не одну, а две подряд нехороших рецензии. Дело неслыханное: две – в одном и том же суперизданию! Чтобы убить книгу, всегда хватает одной, а тут решили не рисковать и уконтрапупить конкретно. Вторая была контрольной — чтоб наверняка. Кто был заказчик – понятно, но доказательств не имею».

А для чего здесь доказательства? Доказательства здесь вовсе и не для чего. Поскольку весь русский эмигрантский, да и не только эмигрантский, литературный мир прекрасно знал – чьих рук это работа. Назовѐм же это громкое имя: Иосиф Александрович Бродский, знаменитый советско-американский сочинитель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1987 год.

Человек этот, пока был жив, отличался одной поистине удивительной особенностью: одной рукой щедро оказывая всяческую помощь и содействие в решении самых разных, в том числе и прежде всего материальных

[24] *Sokolov Sasha*. Astrophobia. New York: Grove Weidenfeld, 1989. Translated by Michael Henry Heim.

проблем, тем из числа своих коллег, котоые были ему чем-то симпатичны, другой – не менее целеустремленно гадил тем, кто был ему отчего-то несимпатичен или же просто имел наглость не признавать его, Бродского, гением во плоти и рыцарем без страха и упрека. Ныне хорошо известно его в высшей степени подлое поведение в деле препятствия на американский издательский рынок сочинений Василия Аксенова – в то время еще находившегося в Советском Союзе и не имевшего реальной возможности ответить на навешиваемые на него Бродским ярлыки типа «говнописатель». То же самое произошло и в отношении поэта Бродского к прозаику Соколову – причем произошло по причине какого-то совершенно иррационального, глубоко мистического свойства, как иной раз случается в отношениях между двумя яркими людьми, не понравившимися один другому , что называется, с первого же взгляда.

Саша Соколов, впрочем, подозревает, что сумел открыть подлинную причину такого к себе пристрастного внимания будущего нобелевского лауреата:

«В разговоре с одной британской слависткой Иосиф заявил, что считает моѐ творчество посредственным. А что касается конкретно ―Палисандрии‖ – изрѐк: ―Нельзя же так выставляться!‖ Это высказывание наводит на мысль, что он книгу просто не читал. Профферы, полагавшие Бродского как бы членом своей семьи, как-то открыли мне семейную тайну: Иосиф, оказывается, за всю жизнь не прочитал до конца ни одного романа. Я как-то даже не удивился: ведь чтение чужой прозы может отнять у поэта столько времени, что писать собственные стихи станет недосуг…»

Да уж, в самом деле. Но ведь никто и не принуждал же поэта читать чужую прозу. Ему это всего только любезно предлагали — как якобы объективному — на

взгляд чрезвычайно мало что в этом вопросе понимающих американских издателей – и хорошо разбирающемуся в теме человеку. Однако советский по происхождению человек, даже десятилетия прожив в свободном мире, от этой своей сущности никогда до конца не избавляется. А если у него появляется возможность использовать собственное положение – статус – для того, чтобы свести счѐты с кем-либо из тех своих соотечественников, кто ему чем-то неприятен, редко умеет от подобного искушения удержаться. Будь он хоть трижды лауреат и четырежды поэт-при-университете.

***

По странному – Соколов наверняка бы сказал: по мистическому – совпадению выход «Палисандрии» в США совпал с началом на родине еѐ автора крупнейших социально-политических перемен, в недалѐком будущем приведших к концу 73-летнего коммунистического правления, а также дезинтеграции и гибели Советской империи.

В России «Палисандрия» объявилась легально в 1989 году – одновременно со своим автором. Летом того года Саша Соколов впервые после отъезда в эмиграцию посетил Москву как турист, а в сентябре его книги были представлены на проводившейся в советской столице Московской Международной книжной ярмарке. Причѐм поначалу не обошлось без скандала – хотя и не особо большого, но заметного. Устроители выставки попытались убедить Эллендею Проффер не выставлять «Палисандрию» на стенде «Ardis'a» — дескать, «наш читатель может это неправильно понять». Однако, столкнувшись хотя и с мягким, но решительным отпором, апеллирующим к провозглашѐнной Михаилом Горбачѐвым политике на открытость советского общества цивилизованному миру, коммунистические начальники махнули рукой – делайте, что хотите, всѐ равно нам скоро

конец… Насчѐт последнего они были совершенно правы: их конец был уже близок.

Вскоре сочинения Соколова стали издаваться в СССР многотысячными тиражами. Сначала были переизданы «Школа» и «Собака-волк», затем настала очередь и «Палисандрии». В предраспадном 1991 году она публиковалась – из номера в номер – в журнале «Октябрь», а в следующем году последовало и первое издание романа в виде книги. Выпустило еѐ громко заявившее о себе в те смутные времена эпохи первоначального накопления капитала московское инфернальное издательство «Глагол», возглавлявшееся двумя в меру авантажными, хотя и вполне винтажными гномиками – С. А. Надеевым и А. Н. Шаталовым (последний был известен в окололитературной тусовке под кличкой Графоман). Эти прогрессивные бизнесмены от литературы забабахали «Палисандрию» – в мягкой, из паршивой бумаги изготовленной обложке, с ныне широко известной фотографией автора в пальто и широкополой шляпе — стартовым 25-тысячным тиражом. Как следствие, продавалась книга лет пять, если не шесть, но под конец XX века всѐ же продалась. Ныне это первое российское издание пребывает в статусе библиографических редкостей, являясь одновременно и ярким символом той эпохи, когда в России можно было издавать не только абсолютно всѐ что угодно, но и как угодно тем, кто это издаѐт.

В течение последующих двух десятков лет «Палисандрия» переиздавалась в России ещѐ четырежды – все четыре раза в Санкт-Петербурге: дважды – в 1999-м и 2004 годах – издательством «Симпозиум» и дважды же – в 2007-м и 2011-м – издательством «Азбука». Последнее из этих переизданий – под одной обложкой с обоими предшествующими ей романами Соколова – считается в среде его поклонников на сегодняшний день лучшим из всех существующих.

Пару лет назад очередное переиздание сочинений Соколова начало московское издательство «ОГИ». (В 2011 году оно выпустило его книгу «Триптих», ставшую для писателя событием после длительного периода молчания.) В 2013 году «ОГИ» выпустило «Школу для дураков», в 2014-м – «Между собакой и волком». В нынешнем, 2015-м, должна последовать и «Палисандрия». От прежних российских изданий Соколова огишное отличается прежде всего тем, что является изданием, во-первых, максимально эстетским по дизайну, а во-вторых, снабжѐнным иллюстрациями, чего предыдущие соколовские издатели не делали.

***

Ну и, наконец, самый главный вопрос.

О чѐм эта книга? Именно так: не *про что*, а – *о чѐм*?

Пересказывать сюжет «Палисандрии» для того, чтобы вызвать у человека, эту книгу не читавшего, к ней интерес, — дело настолько же бессмысленное, насколько и бесполезное. Мне доводилось встречать множество еѐ поклонников, на полном серьѐзе утверждавших, что «Палиснадрию» можно читать вообще с любого места – раскрыв наугад на какой угодно странице, – не особо следя за извивами еѐ фантастического сюжета, но только наслаждаясь бесподобной лингвистической игрой, прихотливым построение синтаксиса и особенно пунктуации; попутно же выхватывая глазом то там, то сям разбросанные жемчужинки изящной словесности и афоризмы, перед которыми наверняка бы снял шляпу сам пан Станислав Ежи Лец. Например, такие: «Человек, взятый под стражу, подобен тексту, взятому в скобки: он отчуждается». По-моему, это гениально. Хотя, конечно, аксиомой и не является, поскольку скобки, как известно, бывают разные, и похожие на кандалы круглые – это одно, смахивающие на колодки квадратные – совсем

другое; что же касательно скобок угловых, конъектурных, призванных раскрывать то, что автору было угодно лишь только обозначить неким одному ему известным полунамѐком, то оные у всякого профессионального издательского работника и вовсе вызывают одни только ассоциации – с допросом с пристрастием…

Так вот. О чѐм же эта книга?

По-моему, она – о Времени.

Время – одна из наиболее странных и загадочных окружающих человека субстанций. Никто толком не знает – что это, как оно устроено и как работает.

Захватившие власть в России большевики отменили Бога, приказали писать слово «чорт» через «è» и велели своим подданным считать, что Время – во-первых, линейно, во-вторых – непрерывно, в-третьих — необратимо. Поколения советских людей именно так и считали, не особенно вдумываясь в смысл механически воспроизводившейся ахинеи. Но вот большевики кончились, и на несколько лет в России настали благословенные, никогда прежде не существовавшие времена. Когда нормальным еѐ гражданам показалось, что страна наконец вступила на путь цивилизованного развития и, заняв место в очереди на построение развитого гражданского общества и демократической системы государственного устройства, вскоре, подучившись у старших – Соединѐнных Штатов Америки и Великобритании с Германией – сдаст выпускные экзамены и начнѐт двигаться дальше сама. Без посторонней гуманитарной и прочей помощи. И что процесс этот будет поступательным и непрерывным.

Ничего подобного не случилось. Случилось так, что спустя короткое время на место большевиков пришли воры и убийцы – свободные от идеологических догм, но исповедующие те же самые, что и предшественники, принципы: «Было ваше – стало наше» и «Сдохни ты сегодня, а я завтра. Но – завтра…». И тут же как-то само

собой выяснилось, что Время, во-первых, нелинейно, во-вторых – прерывисто, а в-третьих – более чем обратимо…

И кто скажет, что это – не так, – пусть первым пойдѐт на чашку чая в гости к депутату Луговому.

***

В завершение – несколько слов о персонажах и прототипах.

В мае 1986 года, находясь в Вашингтоне, Саша Соколов дал большое интервью американскому слависту, профессору Мэрилендского университета Джону Глэду. Мистер Глэд, как всякий хорошо знающий своѐ дело специалист, к интервью хорошо подготовился и проштудировал все три к тому времени изданные книги Соколова «от и до». В числе прочего разговор зашѐл и о годом ранее вышедшей «Палисандрии». И здесь интервьюер огласил автору извлечѐнную из его книги объѐмную цитату, поинтересовавшись при этом, правильно ли он понимает эти слова как творческое кредо Соколова:

«И всѐ-таки в целом история есть типичная кантовская вещь в себе. Если не замечать известной апокалиптичности интонации, то прежде всего отмечаешь тот не случайный, быть может, факт, что она преисполнена скрупулѐзно датированных, но незнакомых и непознаваемых происшествий. Взятые в отдельности, они озадачивают; вкупе – обескураживают. В результате не знаешь, что и подумать, – тревожишься – ожидаешь дурных известий – посматриваешь на дорогу – оглядываешься – удваиваешь посты. Но поскольку надо как-то определиться, встать в мало-мальски учѐный строй, подравняться, то принимаешь волевое решение и формулируешь кредо. Я лично решил для себя полагать и

могу поклясться, что история есть процесс непрестанной, хоть плавной ломки»[25].

Писатель на это ответствовал:

«Можно и так сказать. В этом нашло отражение моѐ отношение к истории, <…> которое отразилось – преломилось — в призме моего героя»[26].

Вспомнив об этом заявлении, я спросил Сашу Соколова:

«Ныне, тридцать с лишним лет спустя после того как эти, процитированные тогда Глэдом, слова были написаны, – вы, приведись это сделать, готовы под ними подписаться, ничего не меняя и не добавляя?»

И получил ответ – краткий, ѐмкий и исчерпывающий:

«Не моргнув».

Павел Матвеев *(р. 1965) – редактор, литературовед, эссеист. Сферой его интересов является деятельность советской цензуры эпохи СССР, история преследования тайной политической полицией коммунистического режима – КГБ советских писателей, литература Русского Зарубежья периода 1960-х – 1980-х годов.*

Как редактор сотрудничает с виднейшими пишущими по-русски литераторами, проживающими как в самой России, так и за еѐ пределами – в странах Западной Европы, Соединѐнных Штатах Америки и в Израиле.

Живѐт в Санкт-Петербурге.

---

[25] *Палисандрия*. С. 24.

[26] *Глэд Джон*. Беседы в изгнании: Русское литературное зарубежье. М.: Книжная палата, 1991. С. 195.

АЛЕКСАНДР ГАБРИЭЛЬ

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

Предать

Ты порою мастак: если тянет постичь благодать,
но иначе никак – значит, можно продать и предать,
и запутать концы, безмятежною делая речь,
чтоб энергия Ци не давала преступную течь.
Спрячь свой пепел, Клаас, и не надо, не штопай прорех:
из распахнутых глаз не зияет гангреною грех.
Пуркуа бы не па? Оставался бы в глянце фасад.
Ну, а гибкая память не вспомнит дорогу назад.
Верь в добро и во зло, сохраняй горделивую стать:
предавать так несложно, что может традицией стать.
Не в котле, не в петле, ты не знаешь ни горя, ни драм,
лишь душа стала легче на несколько (кардио)грамм.

Вспышка

В тот лунный час, когда Шахерезада
закончит все дозволенные речи,
и небо белой шалью снегопада
укроет клѐнов зябнущие плечи,
когда мороз забудет чувство меры,
паучьей нитью окна устилая,
и шалые соседские терьеры
устанут от бессмысленности лая,
и ночи всеохватное цунами
войдѐт в наш дом, желая вечно длиться,
всѐ то, что стало с нами, станет снами —
короткими, как будто вспышка блица.

Синема

Каждый день – словно явь, только чем ты себя ни тешь,
но циничный вопрос возникает в мозгу опять:

ну, а вдруг это просто кино, голливудский трэш,
и слышны отголоски выкрика: «Дубль пять!»?
Вдруг ты сам лишь мираж, одинокая тень в раю,
пустотелый сосуд, зависнувший в пустоте?
Ты сценарий учил, ну а значит, не жил свою,
заменяя ее на прописанную в скрипте.
Дни летят и летят бездушною чередой –
так сквозь сумрачный космос мчатся кусочки льда...
И невидимый Спилберг выцветшей бородой
по привычке трясѐт, решая, кому куда.
Спецэффекты вполне на уровне, звук и цвет,
и трехмерна надпавильонная синева...
Жизнь прекрасна всегда, даже если еѐ и нет.
А взамен еѐ, недопрожитой –
синема.

Не сезон

Слѐзы от ветра шалого вытри
в сумрачной мороси дней...
Как ни смешай ты краски в палитре –
серое снова сильней.
Серые зданья, сжатые губы,
мокрого снега напев...
День безнадѐжно катит на убыль,
еле родиться успев.
Туч невысоких мѐрзлые гривы –
словно бактерии тьмы.
Осень на грани нервного срыва.
Осень на грани зимы.
И чѐрно-белым кажется фото,
лужи вдыхают озон...
Эх, полюбил бы кто-то кого-то...

Но – не сезон. Не сезон.

Кроссворд
Я с ней не был знаком, даже имени я не знал.
Чуть припухшие губы, лѐгкие босоножки...
Был в руках у неѐ на кроссворде раскрыт журнал
с молодою ещѐ Андрейченко на обложке.

Я лишился привычной лѐгкости Фигаро;
я слагал варианты, но не сходилась сумма...
До чего ж малолюдно было в тот день в метро
в два часа пополудни, в субботу, в районе ГУМа.

Эта встреча казалась даром от Бога Встреч,
даже воздух вокруг стал пьянящим, нездешним, горним...
Но куда-то, не зародившись, пропала речь,
встав задышливым комом, дамбой в иссохшем горле.

А когда она вышла, досрочно сыграв финал,
что осталось во мне –
ощущенье беды, тоска ли?
И глядел в потолок незакрытый еѐ журнал
с неразгаданным номером двадцать по вертикали.

***
Присесть на лавочку. Прищуриться
и наблюдать, как зло и рьяно
заката осьминожьи щупальца
вцепились в кожу океана,
как чайки, попрощавшись с войнами
за хлебный мякиш, терпеливо
следят глазами беспокойными
за тихим таинством отлива,
и как, отяжелев, молчание
с небес свечным стекает воском,
и всѐ сонливей и печальнее
окрестный делается воздух.

Вглядеться в этот мрак, в невидное...
От ночи не ища подвохов,
найти на судорожном выдохе
резон для следующих вдохов.
Но даже с ночью темнолицею
сроднившись по любым приметам –
остаться явственной границею
меж тьмой и утомлѐнным светом.

Стам*
От ветра за завьюженным окном
грустней глаза. И хмурый метроном
поклоны отбивает ночи чѐрной...
Мне так хотелось принимать всерьѐз
всю эту жизнь, весь этот мотокросс
по местности, вконец пересечѐнной –
увы. И попугаем на плече
сидит смешок. Всѐ ближе Время Ч
по воле непреложного закона.
Но даже при отсутствии весны
все времена практически равны,
включая время Йоко. В смысле, Оно.
Хоть сердце увядает по краям,
храни в себе свой смех, Омар Хайям,
он для тебя – Кастальский ключ нетленный.
Ведь только им ты жизнь в себе возжѐг,
и только он – недлинный твой стежок
на выцветшей материи Вселенной.
И думаю порой, пока живой,
что, может, смерти нет как таковой.
Она – извив невидимой дороги;
а я, исчезнув Здесь, возникну Там,

и кто-то свыше тихо скажет: «Ста-ам!»,
насмешливо растягивая слоги.

**Стам (иврит) идиома, в одном из своих значений призывающая не принимать всерьез сказанное/совершенное перед этим, свести всѐ к шутке.*

В старом доме
Мир ещѐ сохраняет и цвет, и объѐм;
вдалеке – океана седой окоѐм...
И покуда мы дышим, покуда живѐм –
эта жизнь сохраняет интригу.
Хочешь – смейся, а хочешь – качай головой:
мы однажды окажемся вместе с тобой
в старом доме, засыпанном лѐгкой листвой,
не входящей в Плющѐвую Лигу.

Даже если не веришь – придумай, пригрезь.
Это будет не завтра и будет не здесь:
Только быстрого ливня искристая взвесь,
дом и комнат его обветшалость...
Будет вечер – улыбчив, хитѐр, сероглаз.
Мы придумаем вместе Олимп и Парнас,
и, возможно, случится у нас и для нас
то, что прежде ни с кем не случалось.

Хоть в реальности мир – неприветлив, не наш,
ноют руки и плечи от тяжких поклаж,
да и сам я – бегун, растерявший кураж
на тревожных бескрылых фальстартах,
но никак не могу я не думать о том,
как мне дорог волнующий этот фантом:
твой непойманный взгляд, тот заброшенный дом,
что не сыщешь на гугловских картах.

Каа

Стародавнее ломится в сны, прорывается изнутри,
и попробуй остаться чистеньким, в стороне...
На подъездных дверях было внятно написано: «Жид,
умри!».
А когда я стирал эту надпись, то думал: «Не мне, не
мне...».

Ну, а время вползало в души, хотело вглубь,
изменяло фактуру судеб, как театральный грим...
А отец собирал каждый лишний и даже нелишний рупь,
чтоб свозить и меня, и усталую маму на остров Крым.

Мы пытались продраться сквозь засыхавший клей,
оценить недоступных книг глубину и вес...
Жизнь казалась длиннее, чем очередь в Мавзолей,
но размытою, как повестка съезда КПСС.

Мы Антонова пели персидским своим княжнам,
исчезали по каплям в Томске, в Улан-Удэ.
Всѐ, что думалось нам, что однажды мечталось нам –
по стеклу железом, вилами по воде...

Притерпевшись давно к невеликой своей судьбе,
я смотрю и смотрю, терпеливый удав Каа,
как скрипучий состав, дотянувший до точки Б,
задним ходом, ревя, возвращается в точку А.

Александр Габриэль *минчанин, с 1997 г. живет с семьей под Бостоном (США). В России изданы четыре книги стихов, имеются многочисленные публикации (17 только в журналах ЖЗ). Дважды лауреат конкурса им Н. Гумилева (Ст.-Петербург, 2007 и 2009 гг.), дважды лауреат чемпионата Балтии по русской поэзии (Рига, 2013, 2014 гг.), обладатель премии "Золотое Перо Руси" (Москва, 2008 г.)*

РОМАН СОЛОДОВ

ПРАВДА О ЦИОЛКОВСКОМ

80 лет назад, 19 сентября 1935 года, не стало К.Э.Циолковского, которого в России почитают как основоположника теоретической космонавтики.

При изучении истории космонавтики нельзя пройти мимо знаковой фигуры Константина Эдуардовича Циолковского. Можно начать со статьи в Википедии: «Русский и советский учёный-самоучка и изобретатель, учитель. Основоположник теоретической космонавтики. Обосновал использование ракет для полѐтов в космос, пришѐл к выводу о необходимости использования «ракетных поездов» – прототипов многоступенчатых ракет. Основные научные труды относятся к аэронавтике, ракетодинамике и космонавтике».

Первая же фраза настораживает сочетанием двух слов: «ученый-самоучка». А есть ли еще примеры в истории науки? Ну, хоть где-то, в какой-либо стране, чтоб именно самоучка. Если покопаться, то можно найти. Но все корифеи науки обязательно учились. Заканчивали университеты, институты, корпели годами в подмастерьях в лабораториях мастеров, осваивали трудную науку знания, в общем, грызли гранит... А тут!.. Самоучка и такие работы, такие темы подняты!

Удивляться тому, что космонавтика родилась именно в начале XX века, не приходится. В этот период человечество переживало поистине гигантский скачек в технологическом и научном развитии. Полетели самолеты, побежали автомобили, радио и телефон соединили народы и континенты, доселе темные города осветила лампочка Эдисона, рентген впервые дал возможность проникновения в человеческое тело без хирургического ножа, таблицы расположили химические элементы в

правильном порядке, синематограф завоевывал сердца людей и делал невозможное возможным… Это было уникальный прорыв в будущее, равного которому история не знала.

И на этом фоне как можно было обойти вниманием космос! Такой близкий, такой изученный астрономами, такой огромный… Уж если оторвались от Земли, то и вырваться за пределы ее притяжения тогда не представлялось неосуществимой задачей. Появились энтузиасты нового направления. И среди них был Циолковский.

Казалось бы, он преуспел больше всех. Не зря же ему памятник стоит возле ВДНХ, и посвященный истории космонавтики грандиозный музей в Калуге назван его именем. Там хранится научное наследие ученого в полном объеме и, конечно, сохранен домик, где он жил и творил… Его именем назван кратер на Луне и малая планета, улицы во многих городах страны, проводятся регулярные научные чтения его памяти… Снимались фильмы, в которых играли великие актеры Смоктуновский и Юрский… И можно уже не упоминать о том, что сотни исследователей его творчества защитили кандидатские и докторские. В феврале 2008 года К. Э. Циолковскому присуждена общественная награда – медаль «Символ Науки» «за создание истока всех проектов освоения человеком новых пространств в Космосе».

Глыба человеческая!..

Но пошли дальше: «основоположник теоретической космонавтики, обосновал использование ракет для полетов в космос, пришел к выводу об использовании «ракетных поездов» – прототипов многоступенчатых ракет». На этом, пожалуй, можно остановиться, потому что остальное легко прочитать в Википедии, включая биографию героя.

В Высшее Техническое училище (ныне Бауманка) Циолковский не поступил по «непонятным причинам».

(Так написано в его биографии). Такой талантливый, и не был принят. Биографы умалчивают, что он и не мог поступить, ибо аттестата у гения не было. Циолковский вообще проучился в гимназии четыре года, причем два из них в одном классе. После этого Константин Эдуардович никогда и нигде не учился. Под словами «никогда и нигде» подразумеваются учебные заведения. Румянцевскую библиотеку, где он днями и ночами просиживал, учебным заведением назвать нельзя. Но, учитывая его упорство в получении знаний, звания самоучки он оказался достоин. Тем более, что впоследствии он сдал экстерном экзамены за звание учителя и оказался весьма успешным преподавателем. Он был награжден орденами за свою службу, рос в табели о рангах… Надо заметить, что состоятельным человеком он не стал. Но не потому, что учителям мало платили – в царской России платили как раз хорошо. Большая часть заработка уходила на закупку приборов и лабораторные исследования. Он был фанатиком науки.

В библиотеке он познакомился с основателем русского космизма Федоровым, который заменил ему университетских профессоров и оказал на молодого человека огромное влияние. Космизм к теме статьи отношения не имеет, но нельзя сбрасывать его со счетов, когда мы говорим о философских воззрениях нашего героя. Мы еще вернемся к этому.

Циолковский изучает дифференциальное и интегральное исчисления, аналитическую и сферическую геометрию. В биографии пишут, что он освоил гимназическую программу, а также часть университетской. Экзаменов он не сдавал, работу в Москве найти не смог – кому был нужен самоучка даже без гимназического аттестата. И потому вернулся в Вятку к отцу, где стал заниматься репетиторством. Это у него получалось, но, когда переехали в Рязань, дела с репетиторством не пошли. Учеников не было. Он сдал экзамен экстерном на звание

уездного учителя математики. Переехал в Боровск и преподавал там почти 12 лет. Завел семью. Надо учесть, что Боровск тогда (да и сегодня тоже) никак не мог считаться крупным научным и культурным центром. Газеты приходили с семидневной задержкой, о журналах научных и речи не было. Но первые контакты с научным обществом он все же завязал. Его первая статья, посвященная применению механики в биологии, была отвергнута журналом «Русская мысль» и рецензии на нее тоже не было. Есть предположение, что в этой работе он попытался доказать бессмысленность человеческой жизни. Но эту версию оставим на совести его биографов. Статья не нашлась, и кто точно знает, что там было написано...

У Циолковского много работ по философии. Он принадлежал к группе ученых, проповедующих естественно-научный космизм, в отличие от федоровского религиозно-философского. Он рассматривал космос как живое одухотворенное целое, населенное высокоразвитыми живыми существами. Но сегодня об этой стороне его деятельности предпочитают не вспоминать. И если взять на выбор две цитаты, то станет понятно, почему это замачивается. Вот первая: «Встречая при расселении зачаточные или уродливые формы жизни, высокоразвитые существа уничтожают их и населяют такие планеты своими, уже достигшими высшей ступени развития, представителями. Поскольку совершенство лучше несовершенства, высшие существа безболезненно ликвидируют» низшие (животные) формы жизни, дабы избавить от мук развития, от мучительной борьбы за выживание, взаимного истребления и пр. Хорошо ли это, не жестоко ли? Если бы не было их вмешательства, то мучительное самоистребление животных продолжалось бы миллионы лет, как оно и сейчас продолжается на Земле. Их же вмешательство в немногие годы, даже дни, уничтожает все страдания и ставит вместо них разумную, могущественную и счастливую жизнь. Ясно, что последнее

в миллионы раз лучше первого». Читателю это ничего не поминает?

Если этого недостаточно, вот вторая: «Когда человек умирает, его атомы рассеиваются по всей Вселенной, а потом поселяются в какое-то другое живое существо. Так начинается вторая их жизнь в другом обличье. И если умершее существо было счастливым, значит, и атомы будут счастливые, и новая жизнь нового существа будет счастливой. Если атомы несчастные – наоборот. И задача человечества – уничтожить всю несчастную жизнь на Земле и в космосе». Далее Циолковский описывает, как, кого и в каком порядке нужно убивать: «больных, калек, слабоумных, несознательных... диких и домашних животных, насекомых...»

Отдал дань наш герой и евгенике. По его мысли «в каждом населенном пункте надлежало обустроить лучшие дома, где должны были проживать лучшие гениальные представители обоих полов, на брак которых и последующее деторождение нужно было получать разрешение свыше. Таким образом, через несколько поколений доля одарѐнных людей и гениев в каждом городе стремительно бы возросла».

Можно заметить еще, что теорию относительности он не признал, гипотезу о расширении вселенной тоже. «Очень огорчает увлечение учѐных такими рискованными гипотезами, как эйнштейновская теория, которая теперь поколеблена фактически». «Замедление времени в летящих со субсветовой скоростью кораблях по сравнению с земным временем представляет собой либо фантазию, либо одну из очередных ошибок нефилософского ума… Замедление времени! Поймите же, какая дикая бессмыслица заключена в этих словах!».

Циолковский был материалистом или идеалистом? Ответа точного нет. До революции он был верующим человеком и 1915 году написал очерк «Бог милосердный». Воспел Создателя. Надо полагать, что веру в Бога он

впитал с молоком матери. После революции «конвертировался» в материалиста. А как иначе? Его новые хозяева Бога не признавали.

Но пора все же вернуться к научной деятельности Циолковского. Его первой научной работой считается статья «Теория газов». Вот рецензия одного профессора: «Хотя статья сама по себе не представляет ничего нового и выводы в ней не вполне точны, тем не менее она обнаруживает в авторе большие способности и трудолюбие, так как автор не воспитывался в учебном заведении и своими знаниями обязан исключительно самому себе…». Эта рецензия представляет собой классический пример реакции научного общества на попытку самоучки открыть что-то новое. Вежливо, без оскорблений дали понять, что не надо влезать с мизерными знаниями в область реальной науки. Но есть ощущение, что каким бы ни был ответ – даже ругательным, облили бы презрением, Циолковского это не остановило бы. Он просто сменил поле деятельности.

Самоучка начал заниматься аэростатами. Он твердо решил «отдаться воздухоплаванию и разработать управляемый аэростат». Ему предложили выступить в Москве в Политехническом музее в «Обществе любителей естествознания», где он фактически провалился со своим докладом. Короче говоря, его идея металлических дирижаблей завершилась изданием труда на средства друзей. Научное общество, где были распространены, как мы сегодня говорим, «гранты», тоже не нашло нужным поддержать идеи Циолковского.

Чтобы закончить с дирижаблями, заметим, что Циолковский носился с этой идеей практически до конца своей жизни. Уже при советской власти он добивался признания в этой отрасли воздухоплавания, получал средства на постройку своего детища… Ничего не было создано. Все оказалось химерой. Деньги пропали. Отметим, что попытка создать нечто материальное

оказалась возможной только при Советской власти, когда после большевистского переворота уровень научной мысли не просто опустился. Упал! Всплыли на поверхность шарлатаны, поднявшие Циолковского на щит. Они увидели в нем своего человека: из народа, самоучка… А самого Циолковского уже тогда и трогать было опасно: как же! Сам Ленин отметил его заслуги.

В 1892 году Циолковский переезжает в Калугу, где прожил всю оставшуюся жизнь. Там были написаны его главные труды по космонавтике.

Но, в конце концов, мы чтим его не за философские работы, не за дирижабли и, разумеется, не за отрицание теории относительности (хотя в сталинские времена это поощрялось). А за что же его можно ценить? За придуманные им ракеты, за принципы реактивного движения. Правда, ракеты существовали за века до рождения нашего героя. Реальные, твердотопливные, пороховые. Циолковский предложил сесть на такую ракету и полететь в космос. Но не был первым. До него в ракете «полетели» в космос герои Жюль Верна и, если не ошибаюсь, Сирано де Бержерак.

Многоступенчатые ракеты придуманы тоже не Циолковским. Первый патент был получен американцем Годдардом в 1914 году, а в 1923-м немецкий профессор Оберт выпустил книгу о двухступенчатой ракете. Он прислал ее Циолковскому. И если бы тот причитал ее, то, может, не повторил бы идею немца через четыре года. Но Циолковский немецкого не знал, потому в очередной раз изобрел порох. И не придумывал он никаких многоступенчатых ракет. На самом деле он предложил идею дозаправки ракет: одновременно запустить 32 разные ракеты, которыми управляют 32 пилота. Когда топливо израсходуется наполовину, ракеты как-то встречаются в воздухе попарно – и половина ракет переливает остаток топлива в другие. Пустые ракеты с пилотами падают, остальные летят, пока опять не выработают полбака. И так

далее. Космоса достигает одна из 32 ракет и один пилот. Вот эту идею его биографы называют «ракетным поездом, прообразом многоступенчатых ракет». Даже если заменить «погибших» при этом пилотов на автоматику, все равно получается бред сивой кобылы! Это поезд никак не мог быть «прообразом»… Недаром даже сочувствующий Циолковскому один из популяризаторов его трудов не выдержал и в своей книге в 1937 году написал: «Да надо их сразу соединять, ракеты! И тогда не понадобятся 32 пилота, а хватит одного, и проще будет отбрасывать пустые ракеты, как это и предлагали Годдард и Оберт».

Знаменитое уравнение передвижения точки переменной массы (сколько горючего надо взять, чтобы ракета развила нужную скорость) принадлежит профессору Мещерскому, который вывел его в 1897 году. Исследования этого ученого считаются теоретической основой современной ракетодинамики. Опираясь на его труды, уже после Второй Мировой войны многие советские и зарубежные ученые разработали основные вопросы динамики произвольных изменяемых систем тел переменного состава (то есть, ракет).

Ну, хорошо. А как быть с известной формулой Циолковского, которая определяет скорость, развиваемую летательным аппаратом под воздействием тяги реактивного двигателя? Он опубликовал формулу в 1903 году, независимо от того, что она была выведена девяносто лет назад англичанином Вильямом Муром. Она описывает взаимоотношение между скоростью ракеты, скоростью выхода газов и массы ракеты. Ее еще называют уравнением для идеальной ракеты, ибо не учитываются проблемы аэродинамики и влияние гравитационных сил. А следовательно, формула не может быть использована на практике, ибо по ней невозможно подсчитать количество требуемого топлива для старта ракеты.

Циолковский – один из изобретателей жидкостной (но даже не межпланетной) ракеты. На бумаге, в теории. Это

«изобретение» привлекло внимание даже не ученых, нет, а популяризаторов науки, журналистов, школьников к проблеме межпланетных полетов. В этом заслуга Константина Эдуардовича. Но при чем здесь наука? Циолковскому не удалось предложить: а) работоспособную конструкцию ракеты и б) математически обосновать возможность межпланетных путешествий. До точного расчета дело у него не дошло: все остановилось на фантазии, приблизить которую к объективной реальности математическими доказательствами ему не удалось. Это его биографы вскоре начали выдавать гипотезу о межпланетной ракете за научно-технический результат. Он не стал, следовательно, изобретателем жидкостной ракеты, хотя, несомненно, был пионером в этой области и высказал перспективную идею о принципиальной возможности использовать на ракетах, кроме твердого, жидкое двухкомпонентное топливо.

Пора закончить описание работ Циолковского. Их очень много. Но все они сводятся к одному и тому же: есть идея, высказанная, как правило, кем-то ранее, приблизительные расчеты и…всѐ. Дальше дело не шло практически никогда. Поэтому возводить в ранг гениального то, что было теоретически не обосновано и практически не осуществимо – методологически несостоятельно. Все его идеи (как и все проекты в целом) носили характер фантазий, догадок, которыми он никого из специалистов убедить не мог.

Не стоит даже рассматривать утверждение, что Циолковский является «отцом теоретической космонавтики». В это невозможно поверить хотя бы потому, что знаний у него не было, да и таланта тоже. Есть выражение, что талантливый человек талантлив во всем. К Циолковскому не относится. Талант никогда не позволил бы ему писать ахинею в философских работах. И если он не преуспел в других дисциплинах, то откуда мог

возникнуть прорыв в такую сложнейшую область науки как космонавтика...

Когда она началась? Поведем отсчет от первого спутника. В 1957 году раздались первые «бип-бип»… А до того она не входила в сферу человеческой деятельности. И что мы имеем спустя шестьдесят лет? Да ничего из того, о чем говорил Циолковский. Ни о каких перелетах, колониях и межпланетных станциях и речи быть не может. Одна станция летает, вокруг Земли, астронавты туда высаживаются, ведут наблюдения, ставят опыты… Связь, метеорологическую информацию, шпионаж специалистам обеспечивают космические автоматы… Даже полубредовая идея Рейгана о «звездных войнах» так и не была воплощена в жизнь. А сколько денег вбухали? Преуспел только Голливуд и писатели-фантасты. Вот у них человечество летает в соответствии с трудами Циолковского. Если говорить о фантастах, то для них он оказался настоящим кладом. Достаточно поселить героев на другую планету и можно без боязни описывать ужасы земного режима.

Как же охарактеризовать этого человека? Его можно назвать графоманом от науки. Кто-то скажет, такого не бывает. Наука – дело серьезное. Храм!.. Но как быть с тем же академиком Лысенко? Британская энциклопедия назвала его лжеученым. Но сколько вреда принес он науке и стране, уничтожая генетиков...

Так откуда возник культ Циолковского? Что спасло от забвения провинциального, страдающего глухотой мечтателя? В России в то смутное время подобных людей было очень много. Они мечтали о переустройстве природы с помощью «сверхъестественных сил» – будь то «магнетизм», «космические лучи» и прочие «эманации». Советская власть увидела в таких как Циолковский «научную» замену православию. Практически всех их – как представителей новой жреческой касты – не затронули сталинские репрессии, все они были обласканы, в том

числе материально (к примеру, Циолковскому персонально Лениным была назначена пенсия в 1000 рублей ежемесячно – при средней тогда зарплате в 200 рублей; исправно оплачивались и все его чудачества, именуемые «экспериментами»). А уж после подписи Ленина сам Бог велел сделать из этого, мягко говоря, странного человека, великого ученого.

Недаром в конце жизни Циолковский в письме Сталину написал: «До революции моя мечта не могла осуществиться. Лишь Октябрь принёс признание трудам самоучки: лишь советская власть и партия Ленина-Сталина оказали мне действенную помощь. Я почувствовал любовь народных масс, и это давало мне силы продолжать работу, уже будучи больным… Все свои труды по авиации, ракетоплаванию и межпланетным сообщениям передаю партии большевиков и советской власти – подлинным руководителям прогресса человеческой культуры. Уверен, что они успешно закончат мои труды».

Ответ не заставил себя ждать: «Знаменитому деятелю науки товарищу К. Э. Циолковскому. Примите мою благодарность за письмо, полное доверия к партии большевиков и Советской власти. Желаю Вам здоровья и дальнейшей плодотворной работы на пользу трудящихся. Жму Вашу руку. И. Сталин».

Константин Эдуардович Циолковский умер 19 сентября 1935 года. Культ КЭЦ начал создаваться на следующий же день. Было опубликовано постановление Советского правительства о мероприятиях по увековечению памяти великого русского ученого и о передаче его трудов Главному управлению гражданского Воздушного Флота. В дальнейшем решением правительства они были переданы Академии Наук СССР, где была создана специальная комиссия по разработке трудов К. Э. Циолковского. Комиссия распределила научные труды ученого по разделам. Всего пять томов. Но ограничимся только

словами самого героя: «Моя глухота, с детского возраста (шести лет) лишив меня общения с людьми, оставила меня с младенческим знанием практической жизни, с которым я пребываю до сих пор». Он лукавил. Знание практической жизни у Циолковского было отнюдь не младенческое. Он умел постоять за свои интересы.

Циолковский нужен был большевикам точно так же, как они были нужны ему. Они помогли ему выжить, а он стал еще одним героем в большевистском пантеоне – ученый-самоучка! Плоть от плоти народа. Вот она, русская земля, способная рождать «быстрых разумом Невтонов»… Признал советскую власть (еще бы не признать!), его «научные труды» опередили время, как его опередили большевики, установившие самый «передовой строй» и так далее…

Узурпаторы нуждались в мифах, героях. История со временем разоблачила многие советские мифы, выдуманных героев, но путинский режим вновь возвращается к мифам, пытается реанимировать псевдогероев, устанавливая вектор движения общества не вперед, а назад. Надо ли удивляться, что Циолковский по-прежнему гений. Утешает лишь то, что его культ практически безвреден. Ну, кормятся его именем люди (800 работ напечатано) – но их все же немного, тем более, что его чудовищные философские воззрения никак не пропагандируются.

Но есть один момент, который мне кажется весьма важным. У КЭЦ есть фраза, ставшая крылатой: «Земля – колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели». Эту фразу можно было видеть под изображением каждой ракеты. Под эту фразу тратились безумные деньги на космическую гонку с американцами. И как-то не приходит в голову задать простой вопрос: а почему нельзя жить в колыбели постоянно? Что мешает? Что грозит человечеству? Солнце погаснет или, не дай бог, взорвется? Нет. При жизни человечества этого не будет.

Ближайшие к Земле планеты оказались совершенно непригодными для обитания. До остальных планет можно добраться только в фантастических романах. Человечество обречено жить в колыбели. И потому задачей его является обустройство этой колыбели таким образом, чтобы у всех была достойная жизнь. А фраза Циолковского, как и все его работы, никакого отношения к реальной жизни не имеет.

Роман Солодов *– сценарист, писатель. Член Союза кинематографистов России. В 1991 году эмигрировал в США. Получил профессию технолога по радиоизотопной медицине, проработал по этой специальности почти 20 лет.*

За это время написал несколько романов, изданных в Москве, рассказы, повести, множество статей, опубликованных в русскоязычной прессе США. Недавно в издательстве «Литучеба» в Москве вышел его последний роман «Время откровений»

Автор нашего журнала.

Живет в Нью-Джерси.

ЮРИЙ ОКУНЕВ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ

Неизвестное об известном

Одному из лучших русских писателей XX века Алексею Толстому посчастливилось в 1942 году, в разгар войны, присутствовать на репетиции Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича под управлением дирижера Самуила Самосуда в тыловом городе Куйбышеве, и он, потрясенный драматической мощью и красотой этой музыки, оставил потомкам бесценное описание своего первого впечатления:

«В большом фойе, между колонн, расположился оркестр Московского Большого театра... За пультом – Самосуд – по-рабочему, в жилетке. Позади него на стуле Шостакович, похожий на злого мальчика. Наверху, высоко на хорах, облокотясь о дубовые перила, застыли очарованные слушатели... Взмахивает мокрыми волосами Самосуд, пронзает палочкой пространство, скрипки запевают о безбурной жизни счастливого человека.

Седьмая симфония посвящена торжеству человеческого в человеке. Постараемся (хотя бы отчасти) проникнуть в путь музыкального мышления Шостаковича, – в грозные темные ночи Ленинграда, под грохот разрывов, в зареве пожаров, оно привело его к написанию этого вдохновенного произведения.

...Скрипки рассказывают о безбурном счастьице, в нем таится беда, оно еще слепое и ограниченное, как у той птички, что "ходит весело по тропинке бедствий..." В этом благополучии из темной глубины неразрешенных противоречий возникает тема войны – короткая, сухая, четкая, похожая на стальной крючок. Тема войны возникает отдаленно и вначале похожа на какую-то

простенькую и жутковатую пляску, на приплясывание ученых крыс под дудку крысолова. Как усиливающийся ветер, эта тема начинает колыхать оркестр, она овладевает им, вырастает, крепнет. Крысолов со своими железными крысами поднимается из-за холма... Это движется война. Она торжествует в литаврах и барабанах, воплем боли и отчаяния отвечают скрипки. И вам, стиснувшему пальцами дубовые перила, кажется: неужели, неужели все уже смято и растерзано? В оркестре – смятение, хаос.

Нет, человек сильнее стихии. Струнные инструменты начинают бороться. Гармония скрипок и человеческие голоса фаготов могущественнее грохота ослиной кожи, натянутой на барабаны. Отчаянным биением сердца вы помогаете торжеству гармонии. И скрипки гармонизируют хаос войны, заставляют замолкнуть ее пещерный рев. Проклятого крысолова больше нет, он унесен в черную пропасть времени. Смычки опущены, – у скрипачей, у многих, на глазах слезы. Слышен только раздумчивый и суровый – после стольких потерь и бедствий – человеческий голос фагота. Возврата нет к безбурному счастьицу. Перед умудренным в страданиях взором человека – пройденный путь, где он ищет оправдания жизни.

За красоту мира льется кровь. Красота – это не забава, не услада и не праздничные одежды, красота – это пересоздание и устроение дикой природы руками и гением человека. Симфония как будто прикасается легкими дуновениями к великому наследию человеческого пути, и оно оживает.

Средняя часть симфонии – это ренессанс, возрождение красоты из праха и пепла. Как будто перед глазами нового Данте силой сурового и лирического раздумья вызваны тени великого искусства, великого добра.

Заключительная часть симфонии летит в будущее... вы подхвачены светом, вы словно в вихре его... С

возрастающим напряжением вы ожидаете финала, завершения огромного музыкального переживания. Вас подхватывают скрипки, вам нечем дышать, как на горных высотах, и вместе с гармонической бурей оркестра, в немыслимом напряжении вы устремляетесь в прорыв, в будущее...»

Так писал Алексей Толстой в статье «На репетиции Седьмой симфонии Шостаковича», впервые напечатанной в газете «Правда» 16 февраля 1942 года. Сквозь «пещерный рев войны» симфония пробивала дорогу «красоте, которая спасет мир». Историческим фоном и созидающим началом Симфонии служило мученическое ленинградское побоище, определенно не имевшее аналогов в долгой и кровавой истории человечества...

***

Восьмого сентября 1941 года, когда немецкие дивизии сомкнули вокруг Ленинграда смертельные клещи от Петергофа на Финском заливе до Шлиссельбурга на Ладожском озере, жители города увидели дым гигантского пожарища – это горели взорванные немецкими бомбами Бадаевские продовольственные склады, в которых хранилось 3000 тонн муки и тысячи тонн масла и других продуктов. Историки по разному оценивают влияние пожара на Бадаевских складах на разразившийся вскоре голод, однако, совпадение дат полного окружения Ленинграда и пожара на Бадаевских складах было страшным предзнаменованием Блокады. Академик Дмитрий Лихачев рассказывал, что над городом сперва образовалось красивое белое облако. Поднимаясь ввысь густыми, рельефными «клубами, как хорошо взбитые сливки, оно росло, розовело в лучах заката и наконец приобрело гигантские, зловещие размеры». Бело-розовое облако было дымом горевшего масла. Зловещее бело-розовое облако – словно леденящее душу пророчество

«мене... мене… текел… упарсин» на стене дворца Валтасара.

Еще об одном жутком предвестнике катастрофы рассказывали очевидцы – в те сентябрьские дни огромная колонна крыс прошла по городу из района Бадаевских складов на север и, перекрыв движение на нескольких улицах, начала растекаться по подвалам и припортовым складам. Ленинградским крысам некуда было «бежать с тонущего корабля», и они претерпели весь кошмар голодной блокадной зимы: сначала крысы обгрызали трупы умерших ленинградцев в мрачных, заледенелых квартирах, а затем сами были съедены обезумевшими от голода людьми...

В истории Второй мировой войны много удивительных и великих эпизодов самоотверженной борьбы с фашизмом – битва за Англию, оборона Брестской крепости, битва за Москву, оборона Севастополя, сражение при Эль Аламейне, Сталинградская битва, сражение у аттола Мидуэй в Тихом океане, восстание в Варшавском гетто, высадка американского десанта во Франции. Однако, первым городом, остановившим победоносное шествие немецких полчищ по Европе, стал Ленинград. По своим масштабам и глубине, трагедия и мученическая гибель его жителей и защитников, по–видимому, не имеют аналогов в мировой истории. Правда об этом по разным причинам замазывается до сих пор. История Великой Отечественной войны переврана, история сражения за Ленинград переврана вдвойне, а история Ленинградской блокады скрыта под тройным слоем вранья.

После войны в Соляном городке, что на набережной Фонтанки напротив Летнего сада, был создан обширный и замечательный Музей обороны Ленинграда, в который я – школьник младших классов – ходил несколько раз с родителями. Этот музей чуть-чуть, совсем немножечко приоткрывал завесу над трагедией мучеников

ленинградской блокады. В нем были уникальные подлинные вещи блокадников, документы и фотографии, собранные по горячим следам только что ушедшей войны. Но даже это «чуть-чуть» не понравилось кремлевскому начальству. Музей, по их мнению, «создавал миф» об особой блокадной судьбе Ленинграда, принижал роль Сталина и возвышал руководителей блокадного Ленинграда – Кузнецова, Попкова, Капустина и Лазутина, объявленных вследствие этого изменниками родины и вскоре расстрелянных. В 1949 году на мутной волне погромного «Ленинградского дела» Сталин распорядился закрыть музей. Заметая следы своих преступлений, Маленков и другие сталинские прихвостни буквально разгромили музей и уничтожили большинство его редчайших экспонатов. Не по нутру пришлась Кремлю правда о ленинградской блокаде.

Прошло еще много лет (нескоро всплывает на поверхность правда о советской истории – слишком много камней привязано к ее скрученным ногам), и один из блокадников – академик Дмитрий Лихачев – написал в своих воспоминаниях:

«Правда о ленинградской блокаде никогда не будет напечатана. Из ленинградской блокады делают ~~с~~юсюк". ~~Н~~улковский меридиан" Веры Инбер – одесский сюсюк. Что-то похожее на правду есть в записках заведующего прозекторской больницы Эрисмана, напечатанных в ~~З~~везде" (в 1944 или 1945 году). Что-то похожее на правду есть и в немногих ~~з~~акрытых" медицинских статьях о дистрофии. Совсем немного и совсем всѐ ~~н~~прилично"…»

Я всегда полагал, что правду о ленинградской блокаде преднамеренно скрывают, но не решался высказать это столь определенно, как Дмитрий Лихачев. Вот только один типичный сюсюк, пользуясь терминологией академика, на тему о Ленинградской блокаде.

Советские писатели, привыкшие сусально подвывать вслед за партийным начальством, назвали ледовую трассу через Ладожское озеро Дорогой жизни. Блокадники, однако, не забыли, что на самом деле эту дорогу все называли ―дорогой смерти". Трудно себе представить что-либо более жуткое, чем транспортировка живых людей по этой дороге. Ночью, под немецким обстрелом, машины, преимущественно с женщинами и детьми, двигались в полной темноте по льду среди снежных заносов. Они часто проваливались в полыньи, и люди гибли в ледяной воде без надежды на помощь – следовавшие за ними машины не могли останавливаться и как можно быстрее объезжали полынью. Были случаи, когда дети корчились под водой на глазах у родителей, не имевших возможности помочь им. Люди сходили с ума на этой дороге. По ту сторону Ладоги обессиленных людей часто грабили, а иногда и убивали, спуская трупы под лѐд. Сколько детей было убито, умерло от истощения, замерзло заживо, провалилось под лѐд, пропало без вести на этой «дороге жизни»? Блокадники свидетельствуют: весной 1942 года, когда снег стаял, на всем протяжении полотна железной дороги от города до Ладоги валялись детские трупы и части детских трупов вперемежку с детскими игрушками и раскрытыми чемоданами. Хмурые глубины Ладожского озера не позволили увидеть еще более страшную картину.

***

Сколько людей умерло в Ленинграде от голода, холода, авиабомб и артобстрелов?

В материалах Нюрнбергского процесса над главными нацистскими преступниками была опубликована цифра жертв Блокады: 632 тысячи 254 человека. Эта цифра в округленном варианте – 600 тысяч, вошла в историю и, наряду с цифрой – 6 миллионов умерщвленных евреев, стала одним из трагических символов преступлений фашизма. Имеются, однако, и другие, весьма будничные

цифры из отчета Управления коммунального обслуживания Ленсовета: 1 миллион 93 тысячи захороненных в общих могилах и 115 тысяч кремированных в печах кирпичного завода, то есть всего 1 миллион 208 тысяч человек. Разница – около 2-х раз – никак не может быть объяснена естественной погрешностью подсчетов. Можно было бы на этом закрыть вопрос – обе цифры достаточно чудовищные, если бы не странно-нервное поведение советских властей при их обсуждении.

Дмитрий Павлов – бывший Уполномоченный Государственного комитета обороны (то есть уполномоченный Сталина) по снабжению продовольствием населения и войск Ленинграда в период блокады, фигура сомнительных нравственных качеств по мнению историков, в 70-е годы всячески противился публикации любых новых данных о числе жертв Блокады. Сначала он добился изъятия упоминания о 600-х тысячах жертв из нового издания «Истории КПСС», затем, с помощью высокопоставленных партийных деятелей – секретаря ЦК КПСС Суслова и первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Романова, сумел исключить эти данные из переиздания «Истории Второй мировой войны». Наконец, «неизвестные лица» исключили эту цифру из 3-го издания мемуаров маршала Жукова, вышедшего в 1978 году уже после смерти маршала.

Перед войной в Ленинграде было 2 миллиона 500 тысяч жителей. К ним нужно добавить, по крайней мере, 150 тысяч беженцев из Прибалтики и Ленинградской области. В 1943 году в городе осталось 600 тысяч человек. Куда подевались 2 миллиона и 50 тысяч человек? По официальным данным примерно 150 тысяч ленинградцев ушли на фронт, и мы их жертвами блокады не считаем. Из 900 тысяч эвакуированных многие умерли в дороге, но мы их жертвами блокады также не считаем. Вот и получается, что умерло в городе за два года блокады около 1-го

миллиона людей, что многими историками подтверждается и с цифрами из отчета Управления коммунального обслуживания вполне согласуется.

Возникает вопрос – и чего это большевики так нервно переполошились, словно в их курятник проник незнакомый петух? 600 тысяч, 800 тысяч, 1 миллион – ну, какая им разница, в конце-то концов, – ведь фашистская это работа? Ответ элементарно прост – большевики прекрасно понимали, что Сталин, сталинское Политбюро в полном составе, а вместе с ними вся приближенная к ним партийная номенклатура типа Дмитрия Павлова персонально виновны в уморении голодом одного миллиона ленинградцев. Бабий Яр без всяких затруднений и нравственных терзаний полностью списывался большевиками на немецких фашистов, Катынский лес с некоторыми мерами предосторожности, легким волевым усилием также списывался на немецко-фашистских захватчиков, а вот с ленинградским голодом все списать на Гитлера никак не вытанцовывается.

Почему не вывезли из города, по крайней мере, всех стариков и детей до наступления зимы, то есть в июле, августе, сентябре, октябре и ноябре? – ведь времени для этого было предостаточно.

Почему в августе и начале сентября, вплоть до закрытия последней железной дороги продовольствие из города упорно вывозили вместо того чтобы его завозить?

Почему не завезли достаточное для выживания количество муки по Ладожскому озеру до его замерзания? – ведь Осиновецкий военно-грузовой порт на Ладоге прекратил работу из-за ледостава лишь 12 декабря.

Почему не перебросили достаточное для выживания количество продуктов по воздуху? – ведь транспортных самолетов типа «Дуглас» было достаточно, и аэродром внутри блокадного кольца работал бесперебойно.

Полагаете, на эти вопросы нет ясных ответов? Ошибаетесь – на эти вопросы есть однозначные ответы. И все они сходятся на одном – высшее военно-политическое и партийное руководство СССР виновно в уморении голодом одного миллиона ленинградцев.

Вопрос первый – почему не вывезли из города, по крайней мере, всех стариков и детей? Ответ – потому что руководство считало более важным вывезти из города продовольствие, военную промышленность и вооружение и использовало для этой цели все имевшиеся транспортные средства.

Вопрос второй – почему в августе вывозили из города продовольствие? Ответ – потому что в августе руководство собиралось сдать город вместе с жителями немцам, как это было сделано в сентябре с Киевом.

Вопросы третий и четвертый – почему не завезли достаточное для выживания количество продовольствия? Ответ – потому что в критический для выживания города момент значительная часть автотранспорта вместе с шоферами и практически вся транспортная авиация вместе с летчиками были у Ленинграда изъяты по решению высшего органа власти – Государственного комитета обороны (ГКО), ибо по мнению ГКО грузовики и самолеты были нужнее на других фронтах.

***

В первые дни войны ленинградцы, обманутые бесчестной сталинской пропагандой, полагали, что серьезные неприятности им не грозят – ведь до Западной границы не менее 750 км. От границы до Даугавпилса – 250 км, от Даугавпилса до Пскова – тоже 250 км, от Пскова до Ленинграда – еще 250 км. Не смогут немцы пройти такой невероятно длинный путь – Красная армия прежде разобьет их. Немцы были в Даугавпилсе на четвертый день войны – средняя скорость продвижения примерно 60 км в день. Немцы с ходу взяли Псков на семнадцатый день

войны – средняя скорость продвижения на участке Даугавпилс-Псков примерно 20 км в день. После падения Пскова, наконец-то, всем стало ясно – еще через две недели фашисты будут под Ленинградом. Красная армия не просто отступала, она была окружена и разгромлена, а оставшиеся боеспособные части беспорядочно отходили вглубь страны. Восьмая армия Северо-Западного фронта была полностью дезорганизована, сдала Псков практически без боя и, потеряв связь с другими войсками, отходила на север к Ленинграду.

Профессору Ленинградской консерватории Дмитрию Шостаковичу власти неоднократно предлагали эвакуироваться. Он мог уехать ещѐ в июле вместе с косерваторией, которую отправили в Ташкент, или с Союзом композиторов. Шостакович, однако, упорно отказывался уехать и, более того, пытался записаться добровольцем в народное ополчение. К счастью, у руководства штаба народного ополчения хватило ума отказать ему; в противном случае музыкальный гений XX века, в голове которого уже сложилась тема великой Седьмой симфонии, почти наверняка погиб бы в июле-августе 1941-го на Лужском рубеже под Ленинградом. В конце концов, 28 августа Шостакович согласился уехать вместе с киностудией «Ленфильм» – отправление было назначено через два дня. Но никто уже не уехал через два дня из Ленинграда, ибо 28 августа немецкие войска перерезали последнюю железную дорогу в районе станции Мга. Шостакович остался в блокадном Ленинграде ещѐ на месяц. В доме номер 29 по Большой Пушкарской он заканчивал первую часть Симфонии. Композитор позже вспоминал:

«Я начал работать над Седьмой симфонией в самые первые дни войны… Но в это время я выполял две обязанности: композитора и пожарника – дежурил на крыше консерватории. И таскал туда партитуру, не мог от неѐ оторваться. Знаете, иногда можешь всѐ-таки

оторваться от своей работы, а вот тогда я не мог. Не люблю такие слова про себя говорить, но это была самая вдохновенная моя работа.»

Фотография Дмитрия Шостаковича в пожарном шлеме на крыше Ленинградской консерватории в августе 1941 года стала исторической реликвией XX века, его, если хотите, реалистическим символом, вобравшим в себя и все божественное, и все дьявольское этого века.

***

В середине первой части Ленинградской симфонии, после потрясающего столкновения гигантского вала вражеского нашествия с волной народного отпора, после беспощадного побоища наступает момент, болезненно точно воспроизводящий критическую ситуацию у стен Ленинграда в начале сентября. Шостакович, находившийся в эпицентре смертельной схватки и еще не знавший, чем она закончится, увидел, тем не менее, надвигающийся на город панический хаос. Страшное смятение возникает в трагических звуках симфонии, и кажется: вот-вот все рухнет, и вражеский железный шквал сметет город с лица земли...

Кольцо блокады уже сомкнулось. Пребывавший в состоянии буйного бешенства Гитлер требовал от Вильгельма фон Лееба – командующего Группой армий «Север» – немедленного захвата Ленинграда и соединения с финнами на севере. Генерал-фельдмаршал фон Леб торопил свои войска, и те, озверев от бессмысленного, на их взгляд, упрямства казалось бы давно разгромленных советских войск, рвались к хорошо видимому в бинокль городу, круша все на своем пути. 12 сентября пало Красное село, а затем – Пушкин (Царское село) и Стрельна. В руинах, объятые огнем пожаров, лежали всемирно известные царские дворцы и парки Ораниенбаума, Петергофа, Царского села и Гатчины.

На подступах к Ленинграду шли тем временем, как говорят, кровопролитные бои. Это слово-штамп «кровопролитные», на самом деле, пустой звук при оценке той свирепой схватки не на жизнь а на смерть, которая разыгралась в излучине между Лугой и Невой. Любой бой кровопролитный, если это бой, а не отступление без боя, а тот бой не был обычным боем. Тот бой вообще не был боем, а был истребительным побоищем, ибо только смерть врага устраивала каждую из сторон. В сентябре под Ленинградом обе стороны проявляли эпическое бесстрашие и презрение к смерти в кровавой схватке у стен великого города. Немцы яростно атаковали, прорывая и ломая одну за другой линии обороны русских. Русские ожесточенно сопротивлялись, вставая снова и снова перед танками врага на рубежах, опасно приближавщихся к городским кварталам. Руки захватчика со вздувшимися от страшного напряжения жилами тянулись к горлу города. «Дорогой смерти» назвали немцы путь от Луги до Невы. Приневская болотистая равнина была устлана трупами советских и германских солдат – первых пока было значительно больше.

Самым тяжелым днем обороны города историки считают 15 сентября. В этот день немецкие танки ворвались в Урицк на юго-западной окраине города и, проскочив его, оказались в заболоченной низине, где их встретил последний на пути к Кировскому заводу заслон из остатков войск 42-й армии и ополченцев Октябрьского района. Одновременно немцы прорвали оборону в районе Царского Села и вышли к Пулковским высотам на южной окраине города в 15 км от Эрмитажа. На высотах, с которых открывалась панорама великого города, горела всемирно известная Пулковская обсерватория с провалившимся куполом над Главным телескопом Академии наук СССР. Положение города становилось критическим – немцы вот-вот могли ворваться вглубь городских кварталов. Началось паническое бегство солдат

из окопов на южной окраине города. Заградительные отряды НКВД задержали в эти дни у Средней Рогатки, что в начале нынешнего Московского проспекта, более пяти тысяч бойцов, оставивших поле боя.

***

Семнадцатого сентября в осажденном городе, пребывавшем на грани катастрофы, произошли два глубоко символичных события.

Событие первое: днем по ленингадскому радио выступил известный композитор Дмитрий Шостакович, он рассказал жителям осажденного города, что заканчивает сочинение Седьмой симфонии, которую вскоре назовут Ленинградской.

Событие второе: вечером в квартире на Большой Пушкарской Дмитрий Шостакович сыграл своим друзьям и коллегам две первые части Симфонии. Очевидцы вспоминают:

«Впечатление было ошеломляющим. Когда музыка отзвучала, все долго молчали. Слова казались неуместными, беспомощными… Автор нервным движением раскрыл папиросную коробку и закурил…»

Исполнение второй части было прервано сиреной воздушного налета. Проводив детей в бомбоубежище, композитор сыграл первые две части ещѐ раз...

Пути к творческой вершине необъяснимы и загадочны. Как и когда в голове или, скорее, в душе композитора зародилась эта гениальная тема нашествия? На этот счет есть две версии. По первой, романтической версии тема нашествия в ее развитии сложилась от звуков ленинградских улиц в августе 1941 года. От воя сирен, лязга танковых гусениц, разрывов бомб и снарядов, грохота рушащихся домов, от всего облика города в огне пожаров. Вторая версия, более реалистичная, и, на мой взгляд, не менее возвышенная, исходит от учеников

Шостаковича. Они утверждают, что центральная мелодия темы нашествия была сочинена композитором ещѐ до начала войны, и что война и ленинградская трагедия лишь ускорили придание ей законченной и совершенной симфонической формы. Но тогда возникает вопрос – кто же этот «крысолов со своими железными крысами»? Гитлер или Сталин? Это – гениальное предвидение фашистского нашествия, или это – ощущение устрашающей поступи сталинской диктатуры, или, наконец, это – обобщенный образ наступления тоталитаризма на личность?

Первого октября по решению властей Дмитрий Шостакович вместе с семьей и партитурой Седьмой симфонии был эвакуирован самолетом в Москву, а затем поездом в Куйбышев. Там он заканчивал партитуру симфонии, но творческая вершина уже была пройдена. И достигнута она была в осажденном Ленинграде...

***

Историк и писатель Виктор Демидов приводит в книге «*Рассекреченная блокада*» (со ссылкой на документы Центрального архива министерства обороны) ранее не публиковавшиеся потрясающие факты, раскрывающие причины катастрофической смертности от голода в начале 1942 года. Жестокий голод в городе начался в ноябре 1941 года. Вот выдержка из постановления Военного Совета Ленинградского фронта, датированного 19 ноября. Оно красноречивее любых художественных описаний и картин ужаса, его не должны забыть потомки.

1. Во избежание перебоев в обеспечении хлебом войск фронта, населения г. Ленинграда установить с 20 ноября 1941 г. следующие нормы отпуска хлеба:

Рабочим и ИТР – 250 гр.
Служащим, иждивенцам и детям – 125 гр.
Частям первой линии и боевым кораблям – 500 гр.

Летно-техническому составу ВВС – 500 гр.
Всем остальным воинским частям – 300 гр.

2. Выдать в третьей декаде ноября месяца 100 гр. сухофруктов и 100 гр. картофельной муки по детским карточкам…

Член Военного Совета секретарь ЦК ВКП(б)
Жданов
Член Военного Совета
Кузнецов

Во избежание недоразумений подчеркну, что начиная с 20 ноября суточный рацион питания служащих (т.е. ученых, музейных работников, преподавателей и т.п.), иждивенцев (т.е. стариков) и детей состоял из 125 граммов хлеба – не подумайте невзначай, что выдавались еще какие-либо продукты. О качестве 125 граммов ленинградского блокадного хлеба рассказывал директор Музея хлеба Михаил Глазманицкий: 125 грамм ленинградского блокадного хлеба только на 50% состояли из муки. Остальное: 25% – целлюлоза, 25% – другие примеси. Об этих других примесях можно судить по названиям отчетов Центральной лаборатории треста «Хлебопечение»: «Применение гидроцеллюлозы в хлебопечении», «Выпечка ржаного формового хлеба с примесью соснового луба», «Использование древесных ветвей в хлебопечении».

Положение с продуктами питания быстро ухушалось. Виктор Демидов приводит таблицу поступления продовольственных грузов в Ленинград, взятую им из личной записной книжки секретаря обкома партии, дивизионного комиссара Т.Ф. Штыкова. Эта таблица содержит 70 наименований продуктов питания, начиная от муки и кончая лавровым листом. В столбце «ноябрь» прочеркнуты все наименования кроме: мука – 891 т. В столбце «декабрь» прочеркнуты все наименования

кроме: мука – 11315 т., зерно – 244 т., сухари – 9 т., крупа –1472 т., мясо – 1113 т., масло – 139 т., сахар – 43 т., молоко сгущ. – 158 т., овощи – 2 т. Таким образом, за два последних месяца 1941 года в город было завезено примерно 12200 тонн муки, остальное можно вообще не считать, ибо эти крохи не могли заметно изменить баланс питания двухмиллионного города с оборонявшей его армией и флотом. Для сравнения упомянем, что в мирное время в Ленинград завозилось наряду с другими 70-ю видами продуктов не менее 42000 тонн муки ежемесячно. Доктор биологических наук Юрий Москаленко подсчитал, что при том количестве калорий, которое получали блокадники, продолжительность выживания не могла превышать одного месяца. По-видимому, в ноябре у населения еще были некоторые собственные запасы продуктов, и это задержало агонию. Но вот наступил холодный декабрь, Ладога замерзла, прервав единственную водную связь с Большой землей, ледовая трасса еще не существовала, и вся надежда была на транспортную авиацию.

***

Во второй половине декабря 1941 года в городе иссякли последние запасы пищи. Все, что можно было есть, было съедено, включая дуранду и жмыхи – остатки пищи для уже давно съеденного скота. Заканчивались запасы столярного клея, из которого готовили студень. Были съедены все голуби, кошки и собаки, включая знаменитых «павловских собак» в Институте физиологии Академии наук. Начали есть вареную кожу и так называемый «дрожжевой суп» – вонючее месиво из горячей воды с забродившими древесными опилками. Уже в течение месяца дневной рацион стариков и детей состоял из 125 граммов хлеба. Взвесьте ради любопытства такую порцию и попробуйте прожить с ней один день. Они жили с этим уже больше месяца. И в этот момент, где-то в

двадцатых числах декабря, Государственный комитет обороны нанес ленинградцам из Москвы два неожиданных и жестоких удара.

Первый удар – немедленно сформировать и отправить в распоряжение Верховного главнокомандования пять автотранспортных батальонов, в том числе два батальона с Ладожской ледяной дороги, с полной заправкой и с лучшими водителями.

Второй удар – немедленно перевести снабжавшие Ленинград продовольствием с аэродрома Хвойное транспортные самолеты типа «Дуглас» под Москву.

Вследствие этих двух ударов в последние дни 1941 года и в первые дни нового 1942 года большинство ленинградцев вообще ничего не ели. В эти трагические дни у большинства из них были сломлены последние силы и остатки физиологической защиты от смертельной голодной болезни. Начался повальный мор января 1942 года. Умирали в первую очередь беженцы, не имевшие хлебных талонов, затем дети и старики, а также ученые, ибо они были отнесены советской властью к категории служащих, которым полагалась наименьшая 125 граммовая порция хлеба. Непрерывные артобстрелы, непроходимые, темные, занесенные снегом улицы, опаленные разрывами зажигательных бомб и огнем пожаров, жуткий сорокаградусный мороз, сковавший дома без тепла, электричества, воды и канализации, добивали тех, кто пытался противиться смерти от голода.

Ленинградские руководители пытались возражать против мер ГКО. В ночь с 25 на 26 декабря Второй секретарь обкома и горкома партии Алексей Кузнецов и председатель облисполкома Николай Соловьев осмелились позвонить по этому вопросу самому Сталину. Сталин к телефону не подошел, но его секретарь Поскребышев записал просьбу и обещал прислать ответ. А просьба была простая – не отбирать автотранспорт и самолеты, поскольку положение с продовольствием критическое.

Критическое в том смысле, что продовольствия в городе нет. Вечером 26-го декабря в Ленинград пришел ответ Москвы – смертный приговор голодным жителям осажденного города:

«Дугласы» нужны на других фронтах. Продовольствие и пушки можно поставлять по ледяной дороге. Подписи: Молотов. Маленков. Микоян.

Итак, имена убийц названы ими самими. Как говориться, добровольное признание, смягчающее вину еще и потому, что за спиной этой МММ троицы стоял подлинный автор смертного приговора ленинградцам – товарищ Сталин.

***

Массовый мор начался в первых числах января, но пик смертности от голода пришелся на конец февраля – начало марта, когда начали умирать женщины, как правило, переносившие голод легче мужчин. В эти месяцы 1942 года Ленинградский похоронный трест вместе с выделенным для этих целей полком (полком!) НКВД не успевал убирать мерзлые трупы с улиц и вывозить к местам общих захоронений обглоданные голодными крысами трупы из ленинградских квартир. Трупы сотен тысяч ленинградцев сбрасывались в общие могилы-ямы на Пискаревском кладбище, сваливались на землю Волковского кладбища. Десятки тысяч мертвых ленинградцев ждали захоронения в снежных сугробах и в промерзших квартирах. Неделями и месяцами лежали трупы умерших от голода и замерзших людей на улицах и площадях красивейшего города мира – на стрелке Васильевского острова, на Кронверке у Петропавловского собора, в Александровском саду, на Марсовом поле и у решетки Летнего сада. Трупы умерших от истощения людей были настолько сухими, что почти не разлагались и могли лежать долго в промерзших квартирах.

Родственники умерших не хоронили близких и продолжали жить в одной комнате вместе с трупами. Они отоваривали хлебные карточки умерших – так многие и выжили.

Немыслимые трагедии разыгрывались в темных, зловонных от грязи и неубранных экскрементов блокадных квартирах – этом последнем круге кромешного ада. Люди жили без электричества, без воды и канализации, без радио и газет. Они не знали, что происходит на фронте, в городе, в стране и в мире. Люди жили невыносимой для живых существ жизнью. Нечеловеческий быт, голод, смерть вокруг, жизнь без надежды размывали остатки нравственности и порядочности. Люди грабили квартиры умирающих и комнаты умерших соседей. По городу катилась волна повального грабежа и убийств. Люди, доведенные голодом до тупого отчаяния, отнимали еду у своих близких, переставали кормить стариков, чтобы выжили дети, переставали кормить одного ослабевшего ребенка, чтобы выжил другой. Были случаи и пострашней. Одна женщина собирала к себе на квартиру детей умерших путиловских рабочих, получала на них хлеб по детским карточкам но не кормила. Обессиленные от голода дети не могли вставать – они тихо лежали и умирали.

Продолжительный голод вызывал у людей тяжелые психические расстройства и стирание личности, доводил их до неуправляемого скотского состояния. В январе и феврале – два самых тяжелых месяца блокады – было выявлено 453 случая каннибализма и трупоедства. Это – официальная статистика. А неофициальные свидетельства блокадников говорят о том, что трупоедство стало в городе рутинным бытовым явлением. Я не располагаю исчерпывающими данными о других исторических случаях трупоедства в состоянии крайнего голода, но есть основания полагать, что такого размаха, как в блокадном Ленинграде 1942-го года, это явление не принимало нигде

и никогда. На улицах валялись раздетые трупы с вырезанными мягкими частями тела. Мясо с трупов было срезано до костей, голые обрезанные трупы были страшными – вспоминают очевидцы. А что творилось за темными окнами квартир, в которых умирали голодные люди? Кто расскажет об этом? Один Бог – тому свидетель. Дмитрий Лихачев пишет, что ленинградское людоедство нельзя осуждать огульно, и это, конечно же, правильно. Ленинградское людоедство – позорное клеймо военно-политическому руководству сталинского режима. Для многих ленинградцев людоедство было единственным способом выжить или спасти от смерти близких людей. Когда ребенок умирает от голода, и ты знаешь, что его может спасти только мясо, – отрежешь от трупа. Многие, кроме того, занимались продажей человеческого мяса под видом коровьего, бараньего или собачьего – это тоже был способ выжить. Были, однако, и более страшные промыслы. В городе появилось несколько постоянно действующих пунктов забоя людей на мясо. Лихачев описывает один из таких пунктов на углу Зелениной и Гейслеровского. В том месте якобы продавали картошку. Покупателю предлагали заглянуть под диван, где лежала картошка, и, когда он наклонялся, следовал удар топором в затылок. Когда преступление было раскрыто, в квартире нашли кости многих людей. Убивали людей на мясо и на улицах, и в темных подворотнях, и на неосвещенных лестничных клетках.

Другим страшным символом ленинградской блокады были дистрофики – люди в состоянии крайнего, предсмертного истощения, но ещѐ живые. Всем известны кадры освобождения советскими и американскими войсками узников гитлеровских концлагерей; на этих кадрах – изможденные, страшно худые люди с выпирающими из-под кожи костями. Одним словом – дистрофики. Их вид в своѐ время потряс всѐ человечество и стал ещѐ одним обличением гитлеровскому фашизму. Но

никто и нигде не продемонстрировал ещѐ кинохронику с ленинградскими дистрофиками. Да и существуют ли такие ленты или фотографии? Остались немногочисленные письменные свидетельства очевидцев, главным образом, врачей. Кроме того, ленинградская дистрофия послужила основой изучения этого смертельного состояния в ряде научно-медицинских статей и книг. Ленинградская дистрофия, как правило, была необратимой. Эта болезнь доводила организм человека до столь тяжелого состояния, что его невозможно было спасти даже с помощью нормального питания. Получив такое питание, многие дистрофики тем не менее умирали от дистрофического поноса. По свидетельству блокадников ленинградские дистрофики являли собой нечто ужасное, никогда и нигде прежде не наблюдавшееся. Вот как Дмитрий Лихачев описывает одного из научных сотрудников Пушкинского дома за несколько дней до смерти от голода:

«Рот у него не закрывался, изо рта текла слюна, лицо было черное, волосы совсем поседели, отросли и создавали жуткий контраст черному цвету лица. Кожа обтянула кости. Особенно страшна была эта кожа у рта. Она становилась тонкой-тонкой и не прикрывала зубов, которые торчали и придавали голове сходство с черепом».

***

В ту первую блокадную зиму, казалось, сама природа ополчилась на жителей города. 11 октября, намного раньше обычного выпал снег, а затем ударили неслыханные морозы, не ослабевавшие до конца марта. 24 января 1942 года температура опустилась до минус 40 градусов по Цельсию. 25 января остановилась последняя электростанция «Красный Октябрь» – нечем было топить котлы. Прекратило передачи ленинградское радио. Город онемел и погрузился в ледяной мрак, словно Солнце остыло и Землю охватил космический холод, словно жизнь на планете прервалась. И только вой и разрывы немецких

снарядов да залпы кронштадских батарей напоминали о страшной войне, о гигантской схватке, бушевавшей вокруг умирающего города.

Такова правда о ленинградской блокаде. Пусть не запечатлѐнный кинохроникой облик ленинградского дистрофика станет двойным обличением извергам XX века – партийным вождям гитлеровской Германии и сталинского Советского Союза.

***

Пятого марта 1942 года, когда голодный блокадный мор достиг своего апогея, внешний мир услышал о ленинградской трагедии – в тыловом волжском городе Куйбышеве состоялась премьера Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича. За дирижерским пультом стоял Главный дирижер Большого театра Союза ССР Самуил Самосуд. Симфония транслировалась из Куйбышевского Дворца культуры по радио на весь Советский союз с торжественной преамбулой: «Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза». 29 марта симфония была исполнена в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, откуда транслировалась радиостанциями Великобритании и США.

Мир воспринял симфонию, как важнейшее событие Второй мировой войны. Крупнейшие Западные оркестры пытались получить право первого исполнения. Началось нелегкое победное шествие симфонии, несшей миру весть об истребительной войне России с фашистами, по столицам стран антигитлеровской коалиции. Фотопленка с партитурой симфонии через Ташкент, Ашхабад, Иран, Ирак, Египет, Северную Африку и Атлантику попадает в Англию. В июне 1942 года она исполняется симфоническим оркестром ВВС в Лондоне, в огромном Королевском концертном зале «Альберт-холл» под управлением выдающегося музыканта Генри Вуда для английских солдат, летчиков, моряков и рабочих военных

заводов. Затем фотопленка партитуры на боевом корабле доставляется через Атлантический океан в Америку. Выдающиеся американские дирижеры – Сергей Кусевицкий и Леопольд Стоковский – включились в состязание за право первого исполнения Симфонии в Америке, но Шостакович отдал предпочтение семидесятипятилетнему Артуро Тосканини, покинувшему свою родную Италию, где властвовал фашизм. 19 июля 1942 года, когда на подступах к Сталинграду развернулась решающая битва Второй мировой войны, в огромной студии «Радио-Сити» в Нью-Йорке состоялась грандиозная американская премьера Ленинградской симфонии под управлением великого Артуро Тосканини. Сотни радиостанций США и Латинской Америки транслировали Симфонию. В сезон 1942-1943 года она была исполнена симфоническими оркестрами США шестьдесят два раза – американцы с волнением вслушивались в звуковые образы великой битвы с фашизмом, которая шла в далекой России. Однако вершина драматической судьбы Ленинградской симфонии была ещѐ впереди...

***

В истории музыки много удивительных событий, достойных самой высокой патетики. Однако никогда и нигде не случалось ничего столь драматичного и возвышенного, как исполнение Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича 9 августа 1942 года в окруженном фашистами Ленинграде – точно в эпицентре того последнего круга ада, в котором симфония родилась, о котором она рассказывала и который она объясняла. Когда я перечитываю снова и снова эту историю, каждый раз возникает чувство сопричастности с чем-то безмерно великим, с какими-то глубинными корнями человеческой духовности – сердце бьется учащенно и комок подступает к горлу.

Немецкое командование, вдохновленное победами под Сталинградом, решило возобновить кампанию по захвату Ленинграда, едва оправившегося от истребительной, холодной и голодной зимы в кольце блокады, и объявило о своем намерении провести парад победоносных германских войск на Дворцовой площади 9 августа.

***

В этот тяжелейший момент Великой Отечественной войны в осажденном Ленинграде появляется скромная афиша:

Управление по делам искусств Исполкома Ленгорсовета
Ленинградский комитет по радиовещанию
Большой зал Филармонии, Воскресенье, 9 августа 1942 года
Концерт симфонического оркестра, Дирижер К.И. Элиасберг
Д.Д. Шостакович, Седьмая симфония

Подготовка этой премьеры, подробно описанная во многих воспоминаниях, напоминает фантастическую военную операцию. Военно-транспортным самолетом из Москвы доставляется партитура симфонии. Единственный оставшийся в живых ленинградский дирижер Карл Элиасберг, едва оправившийся от голода в стационаре для дистрофиков при гостинице Астория, где немецкое командование собирается устроить банкет по случаю взятия города, восторженно читает партитуру. Высокий и страшно худой Карл Элиасберг в интеллигентских очках едет по Невскому проспекту на велосипеде, на руле которого болтается кастрюля – на случай, если удастся раздобыть еду. Дирижер едет на велосипеде через весь город в Политуправление фронта, что в Политехническом

институте, с просьбой прислать из действующей армии музыкантов-духовиков. Начальник Политуправления генерал Дмитрий Холостов мрачно шутит: «Бросим воевать, пойдем играть», но, тем не менее, духовиков присылает. На переднем крае обороны города устанавливаются мощные динамики для трансляции симфонии немцам. Командующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант Леонид Говоров приказывает 42-ой армии подготовить артиллерийские батареи к подавлению возможного вражеского артобстрела во время исполнения симфонии. 30 июля Карл Элиасберг едет на велосипеде с неизменной кастрюлей на руле в Смольный, чтобы обсудить премьеру со Вторым секретарем Ленинградского горкома партии Алексеем Кузнецовым. С утра до вечера в Филармонии идут ежедневные репетиции симфонии. Музыканты, присланные с фронта, не без труда восстанавливают свои профессиональные навыки.

***

И вот наступил день 9 августа. В Большом зале Филармонии собрались немногие из выживших ленинградских меломанов, моряки Балтийского флота, руководители города А. Кузнецов, П. Попков и Я. Капустин, впоследствии расстрелянные Сталиным, командующий фронтом генерал Л. Говоров и начальник Политуправления фронта генерал Д. Холостов. Диктор Ленинградского радио, не называя места трансляции, с волнением объявляет: «Слушайте, товарищи! Сейчас будет включен зал, откуда будет исполняться Седьмая симфония Шостаковича»

Карл Элиасберг поднимает дирижерскую палочку, и под сводами парадного, ослепительной белизны зала, сверкающего позолотой и малиновым бархатом, в самом центре разрушенного, изможденного города, на 355-й день блокады, зазвучала музыка, написанная в этом городе и посвященная его трагической судьбе.

Очевидцы вспоминают – нельзя говорить о том, какое впечатление произвела симфония на ленинградцев. Это было не впечатление, это было потрясение. Перед слушателями развернулась картина беспощадной схватки, свидетелями и участниками которой они сами были. Они вновь прошли через кошмар вражеского нашествия, через поражения, через страдание и горе, у которых уже нет слез. Они опустились на дно безысходности, и оттуда, из хаоса снова начали восходить к жизни.

И когда в темной глубине хаоса, среди мечущихся под ударами бесчеловечного врага звуков скорби, вдруг начали зарождаться другие звуки – звуки отпора и надежды, когда в оркестре начала крепнуть, а затем поднялась во весь свой гигантский рост выстраданная ленинградцами могучая мелодия победы, тогда… ударили огромные корабельные орудия Балтийского флота. Их мелодию подхватили артиллерийские батареи 42-ой армии, и на головы проклятого врага, так долго мучившего этот город, на его командные пункты, узлы связи и батареи вместе со шквалом звуков великой симфонии обрушился мстительный смерч из огня и железа.

Ни одно музыкальное произведение нигде и никогда не сопровождалось таким мощным аккомпанементом. Абстрактные музыкальные образы и устремления реальной жизни слились в тот день в единое целое. Ни одно музыкальное произведение нигде и никогда не было таким мощным оружием в схватке с врагом.

***

Я должен признаться, что верю в символы и знаки, подаваемые высоким искусством. В тот день, 9 августа 1942 года, оставалось ещѐ полтора года до прорыва Блокады Ленинграда и почти три года до штурма Рейхстага, долгая дорога к победе над фашизмом пролегала через Сталинградскую битву, через годы страданий и тысячи километров кровавых военных дорог,

но… мне представляется, что в тот день в белоколонном, божественной красоты зале Ленинградской филармонии, под аккомпанемент балтийских батарей, сам Господь Бог сыграл отходную гитлеровскому режиму.

Здесь, в центре самого красивого и самого несчастного города планеты, само Провидение подало людям Земли знак надежды с помощью бессмертной Ленинградской симфонии.

Юрий Окунев *– ученый в области теоретической радиотехники, писатель-публицист, автор научных монографий и книг историко-публицистического жанра на русском и английском языках. Возглавлял ведущую исследовательскую лабораторию СССР в области цифровой радиосвязи. С 1993 работает в телекоммуникационной индустрии США. В 2007 году Институт инженеров электроники (IEEE) присудил ему награду имени Чарльза Гирша (IEEE Charles Hirsch Award) за «выдающийся вклад в теорию фазовой модуляции и разработку мобильных систем радиосвязи».*

Юрий Окунев опубликовал несколько книг и большое число очерков на русском и английском языках: историко-мемуарную книгу «Письма близким из XX века», новеллу-антиутопию «The Lost War – Проигранная война», сборник эссе на темы еврейской истории и философии «Ось всемирной истории» (книга «The Axis of World History» получила награду USA Book News – «The National 2008 Best Book Awards»), «Старческая болезнь левизны в либерализме» («The Incurable Leftist Disease in Modern Liberalism»), мемуары «Детство, которого не было...» и книгу избранного «По дороге в XXI век». Недавно вышла в свет его новая книга «Феномен еврейской культуры».

Ряд очерков Юрия Окунева опубликованы в интернет-изданиях.

ИГОРЬ ШИХМАН

КАК Я НЕ СТАЛ СОАВТОРОМ ИРАКЛИЯ АНДРОННИКОВА

В газету « Советская торговля» я попал в период тотального товарного дефицита. Попал по чистой случайности. Хотя теперь, дожив до седин, убежден, что в нашей жизни не бывает случайностей. Все предопределено судьбой. Посудите сами: моя первая в жизни заметка, опубликованная в четырнадцать лет, называлась « Фабрика дежурит за прилавком » и рассказывала об одесском центральном универмаге. Видать, у меня на роду было написано работать в торговой газете, что я исправно и делал четверть века.

До «Советской торговля» пытался попробовать силы в других газетах. Печатали, правда, чаще под псевдонимами. Когда после нескольких месяцев сотрудничества заикался о штатной работе, немедленно давали от ворот поворот. Те, кто был посовестливее, находили нелепые оправдания, другие – даже не удосуживались объяснить отказ. Мол, сам понимай, как хочешь. Не маленький.

Однажды один преподаватель факультета журналистики МГУ, где я учился на вечернем отделении, знавший о моих злоключениях с поиском работы, посоветовал податься в «Советскую торговлю».

– Эта редакция слывет в журналистской среде синагогой. Говорят, там куча вашего брата.

Мой собеседник многозначительно посмотрел на меня:

– Попробуй. Чем черт не шутит: одним меньше, одним больше…

Преподаватель оказался провидцем. Я попробовал и получилось. Правда, для того, чтобы получить место под солнцем, пришлось изрядно попахать.

Эпоха тотального дефицита сформировала у населения негативное отношение к людям торговой сферы. Их недолюбливали, сторонились, считая поголовно всех хапугами и ворюгами. Директора баз и завмаги были главными и постоянными персонажами фельетонов. Особенно преуспевали эстрадные конферансье на поприще изобличения торговых работников . Словно они, а не бездумная социалистическая система, создали дефицит, ставший благоприятной почвой для злоупотреблений. После появления на экранах телевизоров персонажа Геннадия Хазанова – выпускника кулинарного училища , немедленно завоевавшего небывалую популярность, ребята, выпускники школ, даже слушать не хотели о поварском ремесле, считая его зазорным. Мне однажды довелось выслушать на гневную тираду знаменитого московского шеф-повара Адольфа Тютюника по поводу хазановского монолога:

– Он вылил не суп на себя. Он вылил грязь на замечательную русскую национальную кухню и нам придется долго расплачиваться за это. Сколько талантливых мальчишек не станут поварами?!

Сказал и зло выключил телевизор, оборвав на полуслове знаменитого артиста.

Кстати, сам Тютюник, как и многие именитые коллеги, в частности, Алексей Дубов – сэнсей (учитель), как его называли японские повара, долгие годы учивший рестораторов Страны Восходящего Солнца искусству русской кухни, предпочитали не афишировать принадлежность к торговому цеху. Их хорошо знали за рубежом, где они с успехом представляли национальную кухню на различных выставках, они дружили с известными деятелями искусств и политиками, оставаясь на родине в тени, никому не известными лицами. Я знал немало людей, занимавших в торговле солидные посты и старавшихся скрывать этот факт биографии от соседей и некоторых знакомых.

Однако, руководствуясь системой двойных стандартов – нормой советского общества, каждая семья стремилась обзавестись «своим» продавцом, если очень повезет, из мясного отдела. Дружба с завмагом или завскладом считалась большой удачей. Кстати, о концертах, на которых вовсю в адрес торгашей изгалялись эстрадники. Именно они, герои фельетонов и реприз, сидели в первых рядах. Где еще могут сидеть «уважаемые люди», как их однажды справедливо назвал Аркадий Исаакович Райкин. Не уважаешь их – уважай дефицит.

Такое подчеркнуто пренебрежительное отношение к важнейшей сфере социальной жизни не замедлило сказаться. К семидесятым годам отрасль стала ощущать нехватку кадров и, в первую очередь, молодежи. При общем стремлении получить среднее или высшее образование в торговых вузах и техникумах был хронический недобор. В итоге на свободные места поступали неудачники, не попавшие в другие учебные заведения. Они не собирались работать по полученным профессиям, а приходили лишь ради институтских корочек.

Ситуация явно выходила из-под контроля. Она приняла настолько угрожающие масштабы, что в дело вмешалась высшая инстанция – ЦК партии. Два отдела – отраслевой и пропаганды – в спешном порядке разработали целую программу действий, призванную поднять престиж работников торговли. Конечно, особая роль в этом документе отводилась социалистическому соревнованию, которое, как известно, помогало, как мертвому припарки. Но наряду с обычным советским формализмом были приняты реальные меры. Начали проводиться профессиональные конкурсы; поваров, кондитеров, продавцов стали награждать орденами и медалями. Даже появились художественные фильмы, в которых молодые честные торговые работники успешно

борются с ретроградами в торговой сфере. Лариса Голубкина, сыгравшая в фильм «Дайте жалобную книгу» именно такую героиню, стала кумиром молодежи. После этой киноленты в стране началась настоящая эпидемия открытия молодежных кафе.

В этой сложной работе по подъему престижа работников торговой сферы важная роль отводилась центральной отраслевой газете. От нас, ее сотрудников, требовалось из номера в номер не просто писать о проблемах отрасли, но и рассказывать об интересных людях, работающих в ней, об их духовном мире. На поверку таких оказалось множество. Директор магазина – драматург, чьи пьесы шли на профессиональной сцене, повар-летчица, призер многих соревнований, ученица космонавта Савицкой, кондитер – профессиональный художник… С чистой совестью могу свидетельствовать, что среди торговых людей оказалось много интересных, талантливых и, вопреки сложившемуся стереотипу, порядочных и честных людей.

Один из моих героев – кавалер многих боевых орденов, летчик, лично сбивший три немецких самолета, Марк Кузьмин, уйдя в отставку, работавший директором заготовочной фабрики одного из столичных пищеторгов, с горечью сказал:

– Те, кто говорят о нас дурно, судят по себе. Допусти их до торговли – растащат все в одночасье.

Мне повезло. На своем журналистском пути я встретил немало удивительных и самобытных людей. Людей с Большой буквы. Об одном таком герое, благодаря которому я познакомился и общался с выдающимся литератором и телеведущим Ираклием Луарсабовичем Андронниковым , хочу рассказать подробнее.

… Андронников. Сегодня это имя известно далеко не всем, особенно молодежи, а в семидесятые годы прошлого века оно было на устах миллионов людей. Он

был подлинным кумиром страны. По популярности ему уступали самые раскрученные кинозвезды и прославленные спортсмены.

Только перечисление его официальных титулов занимает добрый абзац. Доктор филологических наук, профессор, председатель постоянного комитета по проведению ежегодного праздника пушкинской поэзии, член редколлегий многих журналов, альманахов и пр. Однако всенародное признание ему принесли не эти громкие титулы.

Талантливый литератор и актер, знаток истории, проницательный исследователь литературы и, наконец, просто обаятельный человек, он сумел совершить невозможное. Особенно учитывая, в каком закрытом обществе Ираклий Луарсабович жил. Андронников вырвался из тесных и замкнутых, словно монастырские кельи, книгохранилищ на союзный телеэкран, трансформировав унылые до занудливости литературоведческие исследования в захватывающие и ошеломляющие детективы, полные интриг и загадок.

Он создал, опередив время, абсолютно новый жанр, лишенный традиционной для советского телевидения идеологической нагрузки. Его слушали потому, что было интересно. По моему глубокому убеждению, телерассказчики, расплодившиеся на федеральных телеканалах, ни что иное, как повторение Андронникова. Далеко не всегда удачное и яркое. В те далекие времена не определялся рейтинг телепередач, но если бы проводился – несомненно, Ираклий Луарсабович оказался бы в лидерах.

Мой короткий экскурс – лишь малая толика того, что можно было рассказать об этом удивительном человеке, неожиданно, по воле судьбы, ставшим одним из персонажей моего повествования.

…Эта история началась с легкой руки другого замечательного человека – Александра Ивановича Фадеева, признанного старейшины московских букинистов, сына знаменитого Ивана Фадеева, нашедшего на рубеже двадцатого века рукописного « Апостола» с пометками на полях самого Ивана Федорова, который был предтечей первой русской печатной книги. В те годы Александр Иванович заведовал букинистическим магазином « Книжная находка». Он находился по соседству с Третьяковским проездом, напротив «Детского мира». Теперь на месте фадеевской лавки расположились шикарные бутики всемирно известных брендов.

У Александра Ивановича был крохотный, насквозь прокуренный кабинет , похожий на кладовку. В нем всегда было многолюдно. Сейчас даже представить трудно, как в это, мягко говоря, ограниченное пространство набивалось десять-двенадцать человек – элитный , нигде не зарегистрированный клуб московских книголюбов. Какие споры и дискуссии велись в клубах фадеевского табачного дыма!

Еще будучи студентом факультета журналистики, я попал к Фадееву, подружился и стал своим в среде его друзей.

– Послушай, студент, - как-то раз обратился он ко мне.

К тому времени я окончил МГУ, но Александр Иванович по-прежнему называл меня студентом. Это стало как бы моей кличкой.

– Студент, – повторил Фадеев, – ты еще пишешь про увлеченных торгашей?

Не дожидаясь моего ответа, добавил:

– У меня есть для тебя уникальный персонаж. Глеб Марков, по профессии повар, а по призванию литературовед. Как он знает Пушкина?! Какие у него раритеты?!

Для пущего эффекта Александр Иванович громко присвистнул и дал телефон своего знакомого.

Мой звонок Марков встретил довольно равнодушно, даже с долей настороженности. Только ссылка на директора « Книжной находки» растопила первоначальный холодок. Мы условились о встрече. На следующий день я несся на нее, словно юноша на первое свидание. Чутье репортера, а вернее, рекомендация Фадеева, сулили нечто необыкновенное.

… Жил Глеб Марков на улице Большая Полянка, невесть каким чудом сохранившей дореволюционное название, в бывшем братском корпусе старинного монастыря, приспособленного советской властью под жилье. Несколько крохотных монашеских келий, объединенных в маленькую квартиру, несмотря на все старания хозяев, выглядели аскетически. Вдоль узкого коридора череда дверей, за каждой – комнатка два метра на четыре. Келья-кухня, келья-спальня, келья-гостиная. Последняя клетушка начисто поразила мое воображение. На мгновение показалось, что я попал в зал Пушкинского дома. Со стен кельи смотрели знакомые и неизвестные портреты и барельефы поэта. На полках книжных шкафов и стеллажей стояли старинные фолианты.

Дав мне оглядеться, Глеб принялся рассказывать о своих сокровищах. Чувствовалось, что он нуждается в благодарных слушателях. По отдельным репликам я понял, что мой новый знакомый изрядно надоел домашним со своим дорогостоящим хобби, наносящим серьезный ущерб семейному бюджету.

Его домашняя Пушкиниана была обширной и многообразной. Взять хотя бы коллекцию медалей и жетонов, посвященных поэту! Она, насчитывавшая более ста предметов, могла украсить экспозицию любого музея. Один из жетонов, судя по технике исполнения явно дореволюционный, не был описан ни в одном пушкинском каталоге. Глеб тогда очень сетовал, что не нашел ни одной

зацепки, которая позволила бы раскрутить тайну этого экспоната.

Мы просидели тогда в его келье-музее более шести часов. Глеб выкладывал на крохотный столик очередную жемчужину своей коллекции. Далее следовал очередной захватывающий рассказ о ней и о том, как она попала к нему. Я давным-давно просрочил время, отведенное на встречу, но уходить не хотелось. Во-первых, было безумно интересно, во-вторых, было неудобно оборвать и тем самым обидеть удивительного человека. Да и он забыл о времени...

Меня очень удивил путь, которым Марков пришел к собирательству. Все началось не с любви к Пушкину, хотя у Глеба в школе была пятерка по литературе. Он тогда работал поваром в ресторане старинной гостиницы «Большая Московская». Находилась она в самом центре на Охотном ряду, напротив Исторического музея. В конце шестидесятых годов двадцатого века ее снесли и на этом месте пристроили корпус к сталинской гостинице «Москва». От старожилов, помнивших дореволюционную историю заведения, Глеб узнал, что когда-то ресторан был очень популярным у состоятельных москвичей. Один из современников, известный московский архитектор Илья Бондаренко называл его «центральным биржевым трактирным местом с обширной клиентурой, преимущественно из числа крупных фабрикантов». Потом хозяин заведения завел моду на «ужин после театра», быстро подхваченную просвещенными москвичами. Сюда стекалась публика и артисты из Большого, Малого и Художественного театров, частной оперы Зимина. Поклонники Мельпомены были в восторге от возможности оказаться за соседним столиком с актерами, которых только что видели на сцене. Разумеется, ресторан славился традиционной русской кухней.

К тому времени, что Марков пришел сюда работать, от былой славы и прежнего меню не осталось и

следа. Гурманов удивить было нечем. Обычный дежурный репертуар советской общепитовской точки – борщ московский, котлеты по-киевски, судак по-польски (пока был судак!)… Глеб загорелся идеей возродить прежнее меню ресторана. Однако найти рецептуру старинной русской кухни оказалось непростым делом. У тогдашних поваров был единственный официальный источник рецептуры – выпущенный в пятидесятые годы сборник « О вкусной и здоровой пище». К сожалению, нужной информации в нем он не нашел.

Тогда молодой кулинар отправился в ближайшую букинистическую лавку в Столешников переулок. Робкое и нерешительное поведение новичка, замешкавшегося при виде множества старых книг, сразу привлекли внимание старого продавца.

– Молодой человек, вам нужно что-то конкретное? – -поинтересовался букинист. – Могу вам помочь?

Разговорились. Глеб описал ситуацию. Его открытость и непосредственность сразу расположили букиниста.

– Думаю, я помогу тебе, – пообещал он и отправился в кладовку.

Ждать пришлось недолго. Продавец вернулся и протянул Маркову толстый фолиант.

– Это Елена Молоховец, – торжественно произнес букинист и по растерянным глазам парня понял, что это имя для него пустой звук.

– Не стесняйся, – утешил он молодого кулинара. – Сегодня ее помнят считанные люди, а когда-то Елена Молоховец была на слуху всей России. Книга эта была настольной во многих домах. Она выдержала при жизни автора 29 изданий...

Глеб наугад открыл книгу с длинным названием: «Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» и углубился в чтение. Изучил один рецепт, потом второй и осознал, какое

сокровище попало к нему. Рассчитался за книгу, не выпуская ее из рук. Боялся, что кто-то вдруг перекупит. Хотелось скорее бежать домой и копаться в рецептах фолианта. Он не знал, как благодарить букиниста.

– Вижу, что книга попала в правильные руки, – успокоил его старый продавец и дал дельный совет. – Ты, парень, особо не светись с Молоховец. Книга хоть и не запрещена, но считается не совсем благонадежной. Почитаешь – сам поймешь почему.

Ночь, которую Глеб посвятил изучению рецептов, пролетела незаметно. Он едва дождался окончания рабочего дня и сломя голову помчался домой. Через пару дней молодой повар был готов к разговору с директором и шефом, четко представляя будущее меню своего ресторана. Постарался его построить исключительно на доступных в это время продуктах, не включая никаких изысканностей. Но разговор не состоялся. Сначала Глеба отшил директор, а потом завпроизводством, которого молодой повар надеялся заполучить в союзники, хмуро спросил подручного:

– Тебе больше всех надо? Вон есть мешок нечищеной картошки...

Через полгода Марков ушел из ресторана «Большой Московской». Надоело ловить на себе косые взгляды начальства. Перевелся в небольшой ресторан неподалеку от Белорусского вокзала. На новом месте опять рискнул, попробовал заняться новаторством и опять получил по рукам.

Неудача, а точнее, непонимание и равнодушие коллег повлияли на дальнейший путь Маркова. Будучи талантливым кулинаром, способным создавать блюда высокой авторской кухни, он разочаровался в профессии. К тому времени, когда мы познакомились, он уже десяток лет работал в заводской столовой и изо дня в день готовил комплексные обеды. В четверг – обязательный по советскому общепиту « рыбный день» – жарил треску или

мойву. Творил у плиты лишь изредка, по особым случаям. К счастью, я был удостоен чести попробовать его блюда, о чем расскажу дальше.

Разочаровавшись в профессии, Глеб открыл для себя удивительный мир старинных изданий. Увлечение началось с поваренных книг. Потом пришло увлечение творчеством Пушкина, которого он любил еще со школьной скамьи.Впрочем, Глеб никогда не бросал кулинарной тематики. Создатель поварского музея (был когда-то такой в Москве) Ворошилов (прошу не путать со сталинским маршалом) самолично рассказывал мне, что мечтал заполучить какие-нибудь экспонаты из коллекции Маркова для своего музея. Например, меню коронационных приемов последних четырех российских императоров. Они были интересны не только тем, чем потчевали царские персоны своих гостей. Их дизайном занимались лучшие российские художники тех времен.

Квартиру моего нового знакомого я покинул поздно вечером. Выражаясь современным языком, от избытка информации у меня поехала крыша. Полученной фактуры с лихвой хватило на несколько газетных материалов, но меня беспокоила одна проблема. Кто поверит мне, репортеру, что Марков и его коллекция – уникальное явление, что перед ним могут снять шляпу многие известные профессиональные пушкинисты. Чего греха таить, наш брат-газетчик иногда выдавал муху за слона.

В уме я перебрал множество аргументов и доводов, но при пристальном критическом подходе они рушились, словно карточный домик. Требовалось чье-то авторитетное мнение. Мнение такого человека, которому бы поверили все. После долгих раздумий сделал, наверное, единственно правильное умозаключение: такой персоной может быть только Андронников. Человек, которого знает и слушает вся страна. Эта идея захватила меня.

Через два дня очерк был на столе редактора отдела. Мой шеф Саша Фридлянский, старый газетный волк, всю войну прошедший фронтовым корреспондентом, по достоинству оценил материал.

– Гвоздь! – сказал он, подняв вверх большой палец. – Пойдет в субботний номер.

– Может, стоит подождать с субботним номером? – начал я и изложил свой план.

Долго уговаривать шефа не пришлось. Он мгновенно уловил изюминку идеи, но…

– Ты придумал здорово. Идеальный повод притащить в нашу газету такого известного и уважаемого человека, но как к нему пробиться. Он ведь нарасхват. Надо не просто взять у него интервью, а каким-то образом затащить Андронникова к Маркову. Ты хоть понимаешь, под чем ты подписываешься?

– Затащу, – с оптимизмом пообещал я.

Через час мне стало многое известно о семье Андронникова, включая номер домашнего телефона. Собравшись с духом, звоню. Трубка откликнулась приятным женским голосом.

– Вивиана Абелевна, здравствуйте, – словно старый знакомый, начал я, уверенный, что к аппарату подошла супруга Андронникова. К счастью, не ошибся. Моя собеседница выдерживала паузу, явно пытаясь вспомнить мой голос. Я не стал интриговать и рассказал о цели звонка. Но вначале, желая расположить к себе жену литературоведа, нагло соврал, что сразу узнал ее голос, знакомый по постановкам театра Рубена Симонова, где она когда-то служила актрисой.

Мое признание явно пришлось Вивиане Абелевне по душе. Она – воплощение любезности – терпеливо, не перебивая, выслушала меня и, поймав момент, сообщила, что Ираклия Луарсабовича нет дома. Демонстративно не скрываю своей досады. Телефонная

собеседница, уловив мое настроение, рекомендовала позвонить завтра в это же время.

– Не расстраивайтесь. Он очень занятой человек, – сказала супруга и, не прощаясь, опустила трубку.

Последние слова мало утешили меня. Я и без нее знал, что Андронников очень занятой человек.

Завтра я, конечно, позвонил. Потом послезавтра… Эти телефонные звонки почти на три месяца стали неотъемлемой частью моей жизни. Мне даже не требовалось представляться. Супруга мэтра мгновенно узнавала меня, словно родственника или друга семьи. Каждый раз у нас получалась милая светская беседа. Мы обсуждали театральные новинки, собеседница сетовала на капризную московскую погоду, жаловалась на дороговизну Центрального рынка. Словом, ни к чему не обязывающая болтовня старых знакомых. В финале разговора выяснялось, что мне опять не повезло и хозяин дома отсутствует.

К чести моей новой знакомой, она никогда не отнимала у меня надежды. Наши разговоры неизменно заканчивались на одной и той же оптимистической ноте:

– Игорь, не стесняйтесь. Звоните.

Я продолжал звонить. Через некоторое время моя эпопея стала притчей во языцех всей редакции. Каких только колкостей на сей счет не услышал в свой адрес?! Коллеги рьяно изощрялись в остроумии. Клички сыпались, словно из рога изобилия. «Тень мэтра», «Автор неопубликованного шедевра», «Телефонный маньяк»… Ответственный секретарь газеты, большой юморист, однажды на редакционной планерке назвал меня «охотником за призраком».

Наконец, настал день, когда мое терпение лопнуло и я созрел отказаться от задуманного, признав поражение.

« В конце концов, свет клином не сошелся на нем, Андронникове, – горячо убеждал я себя, собираясь утром на работу. – Помимо него, есть немало пушкинистов и не

менее авторитетных. Во всяком случае, более сговорчивых».

Сев завтракать, я был полон решимости больше никогда не звонить мэтру. Вообще, навсегда забыть номер его телефона. Наверное, так бы и произошло, но вмешался Случай, давший последний шанс.

У меня дома на кухне постоянно было включено радио. Обычный звуковой фон. Чаще всего я не обращал на него внимание. Так было и в то утро. Я пил чай и в душе ругал себя за то, что стал пленником собственной идеи. Неожиданно зазвучавший хорошо знакомый бархатный баритон оторвал меня от бессмысленного занятия. Едва сдерживая раздражение, прибавил звук и прислушался.

Увлекательный рассказ мгновенно захватил меня. Речь шла о печальной, и в то же время интригующей судьбе книги, изданной в пушкинские времена. Она называлась «Искусство брать взятки. Рукопись, найденная в бумагах Тяжелкина, умершего титулярного советника». Разумеется, никакого Тяжелкина не было в помине. Автор – литератор Эраст Перцов, друг Пушкина, Вяземского и Баратынского, прибегнул к такой форме, стараясь обмануть бдительность царских цензоров. Крохотная книга, в ней было всего 74 страницы, имела целенаправленный антирежимный характер. Она представляла собой курс лекций для недорослей, вступающих на государственную службу. Автор детально и подробно описывал все секреты искусства мздоимства. «Учебник» Эраста Перцова не потерял актуальность и в современной России...

Поначалу уловка автора удалась. Цензура попросту прошляпила книгу, не поняв опасности ее содержания. Однако в цензурном комитете нашелся кто-то сверхбдительный, и весь тираж был немедленно пущен под нож. Увы, такое случалось не только в советские

времена. Даже автору не было позволено взять хоть один экземпляр книги.

– Рабочим типографии известного книгоиздателя Николая Греча, где печаталась книга, – рассказывал Ираклий Луарсабович, – удалось каким-то чудом обмануть бдительность жандармов, наблюдавших за уничтожением тиража, и спасти два экземпляра.

– Разумеется, они стали раритетоми, – констатировал в заключение Андронников, – о котором мечтают многие библиофилы.

Оказалось, что сам он не видел оригинала, хранящегося в главной библиотеке Ленинграда, а довольствовался копией.

Я не верил собственным ушам. Мэтр ошибся. Совсем недавно у Маркова я держал в руках третий, неизвестно каким образом уцелевший экземпляр именно этой книги. Не доверяя себе, на всякий случай звоню своему герою и убеждаюсь, что он действительно обладает книгой «Искусство брать взятки».

У меня мгновенно созрел авантюрный план. Едва дождавшись десяти утра, звоню Андронникову, предварительно поклявшись, что этот звонок последний. Как обычно, супруга, верная помощница и хранительница очага, на посту. Как обычно, мэтра уже нет дома.

– Какая жалость… Он очень огорчится, узнав об упущенной возможности, – как можно таинственнее и в то же время равнодушно протянул я и смолк, ожидая реакцию моей собеседницы.

Короткая пауза. Чувствую, что супруга Ираклия Луарсабовича собирается с мыслями.

– Какая возможность? Что вы имеете в виду? – заинтересованно спрашивает она.

Я умышленно долго и сбивчиво рассказываю про услышанную утром передачу мэтра и про то, что у моего героя есть третий, никому не известный экземпляр этой книги.

– У него (Маркова) сейчас финансовые проблемы. Он собирался продать несколько книг, в том числе «Искусство брать взятки», – нагло напоследок вру я.

Святая ложь! Часто бывает и такая. В этом я убежден и сегодня, спустя несколько десятилетий.

Теперь оставалось одно – ждать. Я ясно представлял, что сейчас происходит в квартире Андронникова. Его супруга, зажав трубку рукой, спешно пересказывает мэтру наш разговор.

Две минуты мне показались вечностью. Наконец, послышался ее голос:

– Игорь, подождите, – радостно сообщила она. – Кто-то открывает входную дверь. Может, вам на сей раз повезло.

Я был уверен: повезло. Точнее, сработала морковка!

– Игорь, Ираклий Луарсабович берет трубку.

В следующее мгновение я услышал уже до боли знакомый, бархатный, великолепно поставленный голос, который было невозможно спутать ни с каким другим.

– Доброе утро, молодой человек. Я вас внимательно слушаю.

Не буду вдаваться в детали этого короткого разговора. Пяти минут хватило договориться о визите к Маркову.

– Только знайте, – вежливо, но настойчиво предупредил на прощанье мэтр, – в нашем распоряжении всего полчаса.

Мое известие застало Глеба врасплох. Он, знавший о моих мытарствах и бесчисленных разговорах с супругой Андронникова, в душе потерял всякую надежду увидеть у себя дома знаменитость и, вероятно, считал меня болтуном. Я в деталях дважды или трижды пересказал ему свой разговор с пушкинистом. Разумеется, умышленно упустив вранье, на которое пошел ради достижения цели.

– Скажи, а если я приготовлю к его визиту любимые пушкинские блюда? – неожиданно спросил он. – Можно?

– Готовь, – не раздумывая, согласился я. - Только учти: у нас на все про все есть только тридцать минут. И на твою коллекцию, и на пушкинские котлеты.

В пятницу (сорок пять лет спустя точно помню день недели) к двум часам дня, как было условлено, я подкатил на редакционной «Волге» к дому на улице Кирова, ныне Мясницкой, где тогда жил Андронников. Это уже после трагической гибели его дочери, талантливого искусствоведа Мананы Андронниковой, семья перебралась в дом напротив Центрального телеграфа на улице Горького, ныне Тверской.

Дверь, как я и ожидал, открыла супруга. Ее лицо излучало неподдельную радость и радушие, словно она давно ждала этой встречи. Провела меня в кабинет Ираклия Луарсабовича. Мы познакомились. Хозяин попросил меня подождать минут пятнадцать, пока он закончит неотложные дела. Мое появление оторвало его от весьма прозаического занятия: Андронников, словно заправский бухгалтер, записывал в толстую амбарную книгу поступившие почтовые переводы – гонорары.

До Большой Полянки доехали за четверть часа. Москва тогда не имела понятия о пробках на дорогах.

– У нас есть полчаса. Ни минуты более, – напомнил мой спутник, когда я потянулся к кнопке звонка. Часы начали отсчитывать отведенное время.

… Наша встреча была в самом разгаре, когда настенные часы в крохотной гостиной Маркова пробили пять вечера. Ираклий Луарсабович потерял чувство времени с первым же раритетом, попавшим к нему в руки. Разумеется, это была упомянутая книга «Искусство брать взятки».

Когда Глеб и его именитый гость углубились в домашнюю Пушкиниану, я почувствовал себя лишним.

Они даже не замечали моего присутствия. Мавр сделал свое дело – мавр может уйти. Конечно, я ни куда не ушел. Тихонько сел в крохотное кресло, стоявшее у окна, и стал наблюдать со стороны за происходящим. Они говорили на равных, перебивая друг друга. Словно, в комнате не было известного всей стране литератора-профессора и безвестного любителя-пушкиниста повара. Передо мной сидели два увлеченных человека.

Еще больше оживился Ираклий Луарсабович, когда Глеб пригласил нас к столу, предварив трапезу десятиминутной лекцией о гастрономических вкусах Пушкина. До сих пор не могу себе простить, что не сохранил меню того обеда и рецептуру любимых блюд поэта. Конечно, были на столе знаменитые пожарские котлеты. Признаюсь: ни до, ни после мне не доводилось пробовать ничего подобного. Это были не котлеты, а шедевры высокого кулинарного искусства. Я храню в памяти тот вкус и никогда не заказываю в ресторанах пожарские котлеты.

Запомнились маринованные каким-то особым способом с хвоей грибы, привезенные поваром из Пушкинских гор. Был на столе безумно вкусный гусиный паштет, смахивающий на крем.

На десерт Глеб прямо у стола приготовил снежки – белковое суфле, которое он прямо на наших глазах погружал в густые горячие сливки, потом ловко выкладывал ароматные шары на тарелки, щедро поливая их вязким малиновым сиропом. Десерт мы запивали болдинской смородиновой настойкой.

У Андронникова, сибарита и гурмана, при виде этих яств разбежались глаза. Он давно перестал поглядывать на часы и не мог себе отказать в удовольствии попробовать все, что было на столе. Подкладывая в тарелку очередную добавку, мэтр неизменно повторял своим уникальным тембром одну и ту же фразу:

– С этой стороны я не был знаком с Александром Сергеевичем.

… Мы вышли из квартиры Маркова когда стемнело. Шедший впереди Андронников, сделав несколько шагов, остановился, обернулся и с каверзной улыбкой обратился ко мне:

– Молодой человек, оцените мою тактичность: я даже не заикнулся Глебу о продаже книги.

Помолчал и добавил:

– Разыграли вы мою благоверную, как по нотам. Купилась… Только я не в обиде.

Мне оставалось только развести руками. Мы, молча дошли до «Волги». Прежде чем сесть в машину, он обратился с неожиданным вопросом, оставшимся для меня по сей день загадкой.

– Что нужно вам, молодой человек, чтобы забыть о существовании этого Маркова?

Что хотел мне предложить мэтр: деньги, покровительство? Или, быть может, что-то другое? Вопрос был поставлен таким образом, что остается только догадываться. В тот момент он попросту сбил меня с толку. Потребовалось какое-то время, чтобы собраться с мыслями.

– Вы хотите о нем написать? – без обиняков, в лоб спросил я.

Он молча утвердительно кивнул головой.

– Ираклий Луарсабович, вы – Андронников. У вас имя, – откровенно, отбросив дипломатию, начал объяснять я, впрочем, стараясь не обидеть именитого собеседника. – А я – никто, молодой, начинающий, никому не известный репортер. Такой громкий материал мне нужен позарез. Так что извините…

Андронников молчал.

В следующее мгновение мне в голову пришла идея, которую тогда счел компромиссом. Правда, все эти годы

при воспоминании об этом испытываю чувство неловкости.

– Ираклий Луарсарбович, давайте напишем о нем вместе, – выпалил я.

Разумеется, мое предложении осталось без ответа.

…В понедельник, как обещал Андронников , он с нарочным прислал пакет. В нем было две страницы, исписанные быстрым размашистым почерком, и еще короткая записка мне с пожеланием творческих успехов. Этот текст был опубликован в качестве комментария к моему очерку. Позволю себе полностью процитировать строки мэтра:

«Сообщение о Пушкиниане повара Глеба Львовича Маркова очень заинтересовало меня. Иной собирает книги для того, чтобы придать квартире интеллигентный вид. Более того, я знавал многих знаменитых библиофилов, которые никогда даже не читали собранных ими ценнейших книг, а лишь гордились ими, как редкостью, любовались переплетами, экслибрисами, иллюстрациями – словом, воспринимали книгу как создание полиграфического искусства. Такие чужды мне. Я признаю таких книголюбов, каким был покойный народный артист республики Николай Павлович Смирнов-Сокольский. Начал он собирать коллекцию альманахов, а стал талантливым исследователем и знатоком книги, пушкинских альманахов и Пушкина. К этой же категории, я верю, будет принадлежать и Глеб Львович Марков.

Он не только собирает книги и любуется ими: он их читает и изучает. Этот человек ведет с вами беседу о Пушкине, и вам ясно, что он знает и любит Пушкина. Это хорошее собирательство. Такое, каким оно должно быть, когда собиратель мало-помалу увлекается темой, становится знатоком предмета, когда книга ведет его и побуждает узнавать все больше и больше.

Действительно, у Маркова есть ценнейшие прижизненные издания Пушкина, и ставшие реликвиями

книги о Пушкине, которые найдешь не у всякого пушкиниста…»

К сожалению, в моем домашнем архиве нет этого андронниковского автографа. Тогдашний главный редактор, сделавший до газеты карьеру сталинского партаппаратчика (в годы войны был секретарем ленинградского обкома партии и вместе с уполномоченным Кремля Микояном отвечал за продовольственное снабжение осажденного города. Как его *снабжали*, можно судить по многим сотням мысяч умерших в блокаду от голода) был сверхосторожным и сверхосмотрительным человеком. Наверное, эти качества помогли ему избежать печальной участи многих руководителей города на Неве, расстрелянных или брошенных на долгие годы в лагеря по «Ленинградскому делу».

Когда материал попал к нему на стол, он немедленно потребовал рукописные страницы Андронникова и, не доверяя никому, собственноручно сверил каждое слово. Потом спрятал страницы в сейф.

– Так надежнее. Знаю я этих знаменитостей, - пояснил он. – Потом скажет, что не писал.

Вероятно, спустя время, уходя на пенсию, главный редактор освобождал для своего преемника сейф и выбросил за ненадобностью среди прочих бумаг автограф мэтра.

Вот и вся история моего знакомства с Ираклием Андронниковым.

Вся, да не вся. Спустя какое-то время мои друзья, побывавшие на вечере знаменитости в зале имени Чайковского, сообщили мне, что один из его устных рассказов был посвящен замечательному пушкинисту-самоучке, повару по профессии, и молодому журналисту, познакомившему их.

Я осторожно расспросил приятелей о деталях и с облегчением вздохнул, когда понял, что Андронников сохранил в тайне мое нескромное предложение.

Мой рассказ будет неполным, если я не упомяну о судьбе Глеба Маркова. К сожалению, она печальна. Некоторое время мы перезванивались, поддерживали отношения, но потом, как в жизни случается, потеряли друг друга из виду. Спустя несколько лет отмечалась какая-то памятная пушкинская дата. У меня раздался неожиданный звонок. Звонили из литературной редакции Центрального телевидения с предложением сделать сюжет о моем герое.

Я немедленно попытался связаться с Глебом. На мой звонок ответил незнакомый женский голос (я был знаком с женой и дочерью Маркова, неоднократно говорил с ними по телефону). Оказалось, что номер уже пару лет принадлежит другой семье и им ничего не известно о прежних владельцах.

Скупую информацию о судьбе Глеба я получил от упомянутого ранее Александра Ивановича Фадеева. Выяснилось, что Марков был запойным пьяницей. Когда он чувствовал приближение срыва – запирал домашний музей на замок, ключ отдавал домашним, строго-настрого приказав ни под каким предлогом не отдавать ему. Опасался, что в пьяном угаре может продать что-то из своей коллекции. В один из таких запоев у него не выдержало сердце. По-моему, Маркову было пятьдесят лет или немногим более.

Судьба марковской коллекции осталась неизвестной. Она словно в воду канула. В столичные музеи не поступала, к букинистам и антикварам тоже не попадала. Фадеев пытался по неофициальным каналам навести справки, но безрезультатно. Судя по всему, считал Александр Иванович и его коллеги, нашлась персона,

знающая толк в раритетах и обладающая солидными средствами, купившая целиком собрание Глеба.

– Видишь, – сказал мне тогда букинист, – родичи его и квартирку поменяли. При Глебовой жизни-то не могли, а теперь сподобились. Значит, деньжата завелись.

По его мнению, скорее всего коллекция Маркова в дипломатической почте «уплыла» за рубеж.

Игорь Шихман *родился в Одессе. Закончил факультет журналистики Московского университета. Четверть века проработал в газете "Советская торговля". В 1989 году эмигрировал в США. Успешно занимается бизнесом. Выпустил несколько книг прозы.*

Он – издатель и главный редактор альманаха "Время и место", выходящего в Нью-Йорке уже девятый год.

ИСААК ВАЙНШЕЛЬБОЙМ

ДВА ДОСТОЯНЬЯ СЕМЕНА ФРУГА

Стихи поэта Семена Фруга я впервые услышал в доме старого доктора вскоре после окончания войны. Там собирались люди его круга – врачи, учителя, адвокаты – еврейская интелигенция, молодость которой прошла в гимназиях, университетах незадолго до Октябрьского переворота.. Мне было интересно в их обществе. Их давно уже нет, я сам перешагнул их возраст, но до сих пор черпаю из этого источника знаний, оптимизма, жизнелюбия и изысканного юмора. Мне никогда не давали почувствовать разделяющий нас возраст.

У этих людей были широкие интересы, они живо и с легкой язвительностью обсуждали жизнь страны, современную литературу, собственные проблемы. Царские времена вспоминали с незлобной неприязнью, самого царя называли Николкой, о своем прошлом говорили без ностальгии, с нескрываемой теплотой... Советскую систему откровенно презирали, о Сталине говорили брезгливо и почему-то называли «дер тутер» – татарин, в народной памяти, вероятно, сохранилась память о давних опустошительных набегах татар.

Поразительно была их вера в недолговечность режима. Много лет спустя, уже после знаменательного доклада Хрущева о культе личности Сталина, старый доктор как-то сказал мне: «Вы еще доживѐте до того времени, когда будут раскрыты ужасающие тайны Кремля». Доктор любил молодѐжь. Близкий к нему узкий кружок еврейской молодежи верил в его мудрость, но предсказания старого доктора о скором падении системы хотя и утешали, но в них не верили. Она казалась нам незыблемой.

Личные проблемы в том обществе обсуждались с легкой иронией. Помню, как однажды обсуждалась тема о

смысле жизни. Тогда старый доктор полушутя, полусерьезно сказал: «Смысл жизни состоит в поиске смысла».

В том кружке хорошо знали поэтов их молодости, которых теперь прочно забыли. Они читали наизусть Полонского, Бальмонта, чаще Надсона. Там я впервые услышал знаменитое стихотворение Надсона, опубликованное после смерти поэта:

Я рос тебе чужим, отверженный народ,
И не тебе я пел в минуты вдохновенья.
Твоих преданий мир, твоей печали гнет
Мне чужд, как и твои ученья.
И если б не был ты унижен целым светом, –
Иным стремлением согрет и увлечен,
Я б не пришел к тебе с приветом.
Но в наши дни, когда под бременем скорбей
Ты гнешь чело свое и тщетно ждешь спасенья,
В те дни, когда одно название «еврей»
В устах толпы звучит, как символ отверженья,
Когда твои враги, как стая жадных псов,
На части рвут тебя, ругаясь над тобою, –
Дай скромно стать и мне в ряды твоих борцов,
Народ, обиженный судьбою!

В один из вечеров за чаем с коржиками я впервые услышал стихотворение Фруга «Весною»:

Песни весенней ты просишь, склоняя
В тихой печали головку свою..
Надо бы, милая, рад бы, родная,
Только о чем же тебе я спою?..
Друг мой, я вырос в чужбине холодной
Сыном неволи и скорби народной;
Два достоянья дала мне судьба:
Жажду свободы и долю раба.

В те дивные вечера я слышал много стихов Фруга, но эти помню до сих пор. Каждый из нас мог тогда повторить эти строки о себе. Поэт предвидел наше послевоенное настроение. Глядя на безлюдные, опустошенные Холокостом еврейские местечки с бесчисленными Бабьими Ярами, разве можно было более горько сказать о нашей народной боли и скорби? После ужасающих потерь, разве мы снова не оказались в «чужбине холодной»? Разве в то послевоенное время, полное слухов о депортации евреев и новой волны ненависти, можно более проникновенно выразить неутоленную народную жажду свободы? С тех пор Фруг стал поэтом нашей семьи.

Он родился в 1860 году в еврейском поселении Бобровый Кут на берегу красивой реки Ингулец. Это была одна из еврейских земледельческих колоний, созданных Екатериной Второй для заселения херсонских степей после завоевания Северного Причерноморья. В условиях тяжелого земледельческого труда, на лоне нетронутой природы рос будущий поэт. Спустя годы он скажет: «Моим ребе была вся природа».

Как водилось в еврейских семьях того времени, в пять лет мальчика отдали в хедер. Это была школа Торы и жизни. Меламед знал только один педагогический прием, о котором Фруг писал: «От пощèчин слышались в ушах звуки тысяч колокольчиков». Видимо, метод учителя и талант ученика дали хорошие результаты. Впоследствии Фруг писал блестящие стихи и поэмы на древнееврейском языке и проникновенные русские стихи на библейские темы.

После хедера Фруг окончил трехклассную светскую деревенскую школу, в которой научился читать и писать по-русски. На этом кончились его университеты, вызвав в нем стремление к самообразованию, которому он обязан созданием огромного поэтического наследия. Читающая Россия была покорена изысканной, классической формой

его стихов, оценив также страстные еврейские мотивы, адресованные еврейскому читателю. Глеб Успенский одним из первых оценил талант молодого поэта и стал его наставником в раннем творческом периоде, когда Фруг поселился в Петербурге.

Фругу было двадцать лет, когда были опубликованы его первые стихи. В Петербурге он много пишет. Его охотно публикуют все популярные русские журналы. В двадцать пять лет он издает свой первый поэтический сборник на русском языке. В стихах сборника доминирует тема душевной боли и страданий еврейского народа. Критики отмечали оригинальность таланта молодого поэта и мотивы вечного страдания и человеческих горестей. В стихотворении «Будущее» он верит, что придет час расплаты и исчезнет вражда. Поэта увлекают сюжеты Библии, в которой он видит бессмертный памятник культуры и источник поэтического вдохновения.

Со временем талант Фруга мужал, его стихотворная форма становилась изысканней, а мотивы проникновенными и мудрыми. В еврейской поэтической тематике поэмы Фруга остаются непревзойденными до наших дней. Все они написанны на русском языке. Русская культура до Фруга и после него не знала столь глубокого проникновения в библейские ценности. Творчеством Фруга увлекались Исаак Бабель, Самуил Маршак, Корней Чуковский. Очень высоко ценили его творчество Ицхак-Лейбуш Перец, Шолом-Алейхем, Менделе Мойхер-Сфорим. Личность Менделе восхищала Фруга, и он посвятил ему стихотворение «Орел». Могли ли Менделе и Фруг предвидеть, что их могилы окажутся на одесском христианском кладбище, но, слава Богу, рядом... Об этом мы еще расскажем.

В 1909 году Фруг переезжает иэ Петербурга в Одессу, где становится активным членом богатой еврейской

культурной среды, которую прославили Менделе и Бялик. До переезда в Одессу Фруг издает первый свой сборник на идиш «Стихи и думы». Это было новое слово в еврейской поэзии. Шолом-Алейхем восторгался еврейскими стихами Фруга. Литературные критики утверждали, что вклад Фруга в еврейкую поэзию можно сравнить с ролью Менделе в еврейской прозе.

В одесский период творчества Фруг создает произведения на иврите. Подобный вклад одного поэта на трех разных языках беспримерен. В последние годы жизни поэта все больше притягивает земля предков и он сближается с сионистким движением. В стихотворении «Итоги» Фруг признается: «Россия родина моя, но мне чужда страна родная, где я живу обузданный запретами». Невольно вспоминается Лермонтов: «Люблю Россию я, но странною любовью».

Последние годы жизни Фруга были тяжелыми и безрадостными. Фруг потерял единственную дочь, он страдал от нужды, одиночества и болезней. Поэт скончался 22 сентября 1916 года. В последний путь на старое еврейское кладбище поэта провожала вся Одесса, более ста тысяч одесситов, делегации городов и местечек, литературные круги, русские и еврейские, возглавлял Хаим-Нахман Бялик. Он тогда сказал: «Читая Фруга даже на чужом мне языке, я чувствовал в нем родную душу, я обонял запах Библии и пророков. Читая его стихи, я не заметил его русского языка, я чувствовал в каждом слове язык предков, язык Библии».

Смерть Фруга вызвала потрясение в еврейской среде не только России, но и за ее пределами. Газеты публиковали некрологи разных городов России и Европы. В Московском некрологе Фруг назван поэтом души еврейского народа. Главный Московский раввин Я. Мозен написал, что Фруг поэт глубокой печали. Известность и слава Фруга стала мировой. Сборники его стихов

издавались в США, Аргентине, Европе, особенно популярным поэтом он оказался в Румынии. После смерти Фруга прижизненные сборники мгновенно исчезли из книжных магазинов и стали букинистической редкостью. Поэт Бялик создал Фонд Фруга, издававший его произведения

Казалось, на своей родине имя поэта переживет века. Но через год после смерти поэта произошѐл Октябрьский переворот. За долгое время советской власти не было опубликовано ни одной строчки Фруга. Имя поэта изчезло даже из специальной справочной литературы. Фруг оказался первой жертвой среди еврейских писателей в Советском Союзе. Только в Берлине в 1926 году отметили десятилетие со дня его смерти. Пророчество Фруга о том, что «чужда страна родная», сбылось совершенно. Только верные его поклонники из старой интелигенции помнили чудные стихи и тайно хранили сборники в чуланах. Даже в одесских букинистических магазинах книги Фруга крайне редко появлялись и продавались подпольно только своим, проверенным покупателям.

Кто-то тогда назвал Фруга сиротой среди гоев. Кто мог тогда подумать, что великий национальный поэт окажется сиротой среди евреев. Тысячи провожавших Фруга на второе еврейской кладбище Одессы, не сомневались, что провожают его в последний путь на вечный покой. Не суждено было Фругу обрести вечный покой, его посмертный путь оказался не последним.

В 1978 году власти уничтожили старое Одесское еврейское кладбище, учинив погром праху мертвых и памяти живых. Вандализм потряс город. То, что не посмели сделать оккупанты, сделала советская власть.. Мертвецам бесправного народа отказали в вечном покое. Старое еврейское кладбище Одессы было мемориальным.

Там покоились выдающиеся деятели еврейской и мировой культуры, ученые, общественные и духовные лидеры. На кладбище были установлены уникальные памятники. Разрушили большой, исторической и художественной ценности мемориал жертвам Одесского погрома 1905 года. Гранитные блоки мемориала беспорядочно свалили на третье еврейское кладбище на Слободке. Удивительно, как еще прах жертв не захоронили рядом с погромщиками и убийцами... От той власти всего можно было ожидать...

Часть захоронений и памятники известным еврейским литераторам перенесли на христианкое кладбище... Почему не на еврейское? Вообще, почему разрушили кладбище? Но разве существует разумное объяснение у безумной, бесчеловечной власти?

Когда стало известно о перезахоронениях, я с моей женой Зиной посетили христианское кладбище. В кладбищенской конторе нам сказали, что могилы еврейских писателей находятся недалеко от церкви(!) на правой аллее. Надгробия Менделе и Лазаря Кармена нашли без труда, они стоят рядом. Был теплый осенний день накануне Рош-Хашана.

Кладбищенскую тишину нарушал шорох опавших листьев, которые ленивый ветер перегонял с могилы на могилу. На полированных гранитных и мраморных плитах листья не задерживались, и только на старых неухоженных могилах образовывались цветные холмики из листьев. Памятника Фругу мы не нашли.

Тогда мы еще не знали о драматической истории исчезновения памятника. Я испытывал горечь и надежду – может, смилостивились над покойным поэтом и его прах перенесли на еврейское кладбище? Удрученные неудачей, мы собирались покинуть кладбище. Каким-то необъяснимым образом мне показалось странным, что между надгробиями Менделе и Кармена свободное

пространство с небольшим холмиком, покрытым листвой, и я стал разгребать листья. Обнаружился могильный бугорок из бурой глины. Не может быть, чтобы безвестный покойник был захоронен между прославленными еврейскими литераторами... В торце могильного холмика я обнаружил небольшую цементную плитку с надписью «Поэт Семен Григорьевич Фруг». Мы переглянулись, не в состоянии проронить ни слова. Мы долго стояли над заброшенной могилой поэта, которого, как и других еврейских писателей, посмертно лишили их народа, для которого они творили, и перенесли прах на чужое кладбище. Вместо памятника серая невзрачная маленькая цементная плитка...

В памяти возник стих Фруга «Моя эпитафия»:

Здесь человек лежит,
Глупец, свихнувшийся поэт.
Безумно, дико дни свои провел,
Рыдая, плача, жизни путь прошел.

Мог ли поэт думать, что путь его после смерти будет еще горьше. Даже в загробной жизни он оставался «сыном неволи». С горечью взирали мы на заброшенную могилу Фруга, и нам казалось, что над его прахом витает его униженная душа.

Никто не мог объяснить нам, где памятник Фругу, словно его и не было. Испарился?! Чиновники игнорировали наши попытки узнать о судьбе памятника.

...Прошло тридцать лет. Мы давно простились с Одессой и с жалким холмиком над прахом Фруга. Во время редких посещений Одессы могила поэта оставалась такой же, но листву кто-то убирал. В 2008 году одно из заседаний гостиной Одесского землячества Нью-Йорка было посвящено изданию полного собрания стихов и поэм Фруга «Разбитые скрижали». Этот беспримерный вклад в

русско-еврейскую культуру совершил известный издатель и политолог Илья Левков. Это событие явилось импульсом для новых поисков памятника Фругу. Не могла же бесследно исчезнуть большая глыба итальянского черного мрамора, из которой было высечено надгробие поэта весом примерно в одну тонну...

Я обратился за помощью к нашим израильским друзьям, замечательным, чутким людям, для которых дорога еврейская культура – Свете и Абраму Ривлиным в надежде на израильские архивы. Результат превзошел ожидания. Оказалось, что надробие Фруга они обнаружили на мемориальном кладбище имени Трумпельдорфа в Тель-Авиве! Надгробие Фруга украли и вывезли из Одессы во время оккупации города румынскими войсками. Советским властям факт грабежа был, конечно, известен, не могли не знать. Но какое им было дело до памяти еврейского поэта?!

Надгробие обнаружили и вернули еврейскому народу евреи Румынии. Почти детективное приключение началось на бухарестском рынке. Надгробие Фруга продавалось! Наверное, это единственный случай в истории. Человек, обнаруживший нагробие на рынке, имени Фруга не знал, но надпись на иврите привела его к главному раввину Бухареста Менаше Розену, который был знаком с еврейскими стихами Фруга. Розен без промедления организовал покупку памятника и со всеми почестями установил его на еврейском кладбище румынской столицы. Об этом раввин известил советское дипломатическое представительство. Его вежливо поблагодарили, но никаких действий не предприняли. Розен, выждав достаточное время, поделился возникшей проблемой с израильскими коллегами. У Советского Союза тогда дипломатических отношений с еврейским государством не было. Совместными усилиями румынских и израильских общественных организаций памятник был

перевезен в Тель-Авив и установлен на мемориальном кладбище.

...После пышных похорон Одесса установила своему поэту нагробие, символизирующее вечную память. Память его страны и память любимой им Одессы оказались короткими. Сегодня имя Фруга носят улицы разных городов Израиля, древнейшего отечества, которое он безмерно любил и которому посвятил вдохновенные стихи и поэмы.И впрямь:

Два достоянья дала мне судьба:
Жажду свободы и долю раба.

Исаак Вайншельбойм *родился в 1922 году в Украине. Участник Великой Отечественной войны. Был командиром пехотного подразделения, инвалид войны. До иммиграции работал адвокатом в Одессе. В Америке активно сотрудничает с русскоязычными СМИ, публикует эссе, рецензии на спектакли и концерты, обзоры художественных выставок, Он автор четырех книг художественной прозы. Недавно изданная повесть «Бегство из ада», о трагедии одесских евреев во время Второй мировой войны получила положительные отзывы критики.*

Исаак Вайншельбойм с юнных лет увлекается живописью, которая стала его основным занятием в Америке. Участвовал более чем в тридцати выставках. Картина «Хупа в гетто из цикла «Холокост» получила приз на выставке художников штата Нью-Йорк.

ЮРИЙ СОЛОДКИН

ИЗ НОВЫХ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ

Паниковать не надо в страхе.
Откуда безысходность, друг?
Ведь даже голова на плахе
Лежит и думает: «А вдруг?»

***

Цикуту выпить вынужден Сократ.
Опасно быть умнее во сто крат.
Смутишь людей в их фанатичной вере,
Приговорят немедля к высшей мере.

***

Как тяжела судьба!
Язык виновен, что ли?
Работать – от раба,
Уволиться – от воли.

***

Мне тупость свою ощущать не впервой.
Понять безуспешно пытался –
Овечка в Эдеме питалась травой,
А волк чем в Эдеме питался?

***

Не знаю, верно ли постиг
Я это качество природы.
Зло торжествует в тот же миг,
Добру же требуются годы.

***
Железною была рука,
Могучей правила державой
И думала, что на века,
Что никогда не будет ржавой.

***
Разумными слывѐм необычайно,
Но как ни удивителен прогресс,
Жизнь не твоя – неведомая тайна,
А собственная – чудо из чудес.

***
Прогресс велик, но вот досада –
В добре нас меньше, чем во зле.
Дождѐмся ль райского мы сада
Не в небесах, а на Земле?

***
Как нелегко от пресса прессы,
Депрессия от новостей.
То насмерть бьются интересы,
То бешеный накал страстей.

***
Хоть дар любви зовѐтся даром,
Он нам не достаѐтся даром.

***
Слова заученных молитв
Тебе не надоели, Боже?
Во все века одно и то же,
Не можем дня прожить без битв.

***

Альберту Маркову

В нас Бог, Альберт, живѐт молчком.
Где Он, неведомо науке.
Но если водит он смычком,
Летят божественные звуки.

***

Под ногти вошла изуверски игла,
И вся подноготная правда всплыла.
Кошмарное слово тогда родилось,
И жаль, что забылось, откуда взялось.

***

Бог работал шесть дней до субботы
И безумно устал от работы.
На шабат Он решил удалиться,
И шабат Его всѐ ещѐ длится.

***

Пора вранья настала,
Враньѐ и там и тут.
За правду платят мало,
За правду чаще бьют.

***

Свалившаяся вдруг беда
Немногословна, как всегда.
А радость, это ли неверно,
Словоохотлива чрезмерно.

***

Не зная ни религий, ни наук,
Вопрос мне задал пятилетний внук,

Услышав, что живѐт на небе Бог:
«А на Земле Он, что ли, жить не смог?»

***

В беспощадном мире, плачь-не плачь,
Что ни победитель, то палач.

***

Таким жестоковыйным он рождѐн –
Проигрывал, но не был побеждѐн.

***

Стала ты неотъемлемой частью
Моего неделимого Я.
Ты моѐ приглашение к счастью.
Это больше, чем просто семья.

***

Когда трудна дорога,
Беда в недобрый час,
Не подведите Бога,
Который верит в нас.

***

Как мы живѐм? Так и живѐм.
По невозможному вздыхаем,
И так морально устаѐм,
Что аморально отдыхаем.

***

Снова запах с родных берегов,
Снова мучаюсь непониманием,
Почему засиранье мозгов
Называется их промыванием?

***

Что за песни, что за танцы?
В звѐзды рвутся звездорванцы.
Что несут они с эстрад?
Звездануть бы их под зад.

***

Что в России творится?
По закону вот-вот
Запретят материться –
Онемеет народ!

***

Это чаянья народа –
Братство, равенство, свобода.
Сбудутся ли чаянья?
Или вновь отчаянье?

***

Бог нас творит, не разбирая,
Для ада мы или для рая.
Он после Высшего Суда
Решит, туда или сюда.

Юрий Солодкин *родился в Новосибирске. Доктор наук, профессор. В США работает по специальности. Многие годы его любимое занятие – задавать интересные вопросы и искать интересные ответы, умещая и то, и другое в четыре поэтические строки. Выпустил несколько книг таких миниатюр, включая "Библейские поэмы" – на бессмертные сюжеты Ветхого Завета.*

Постоянный автор журнала "Время и место".

Автор обложки

ПЕРОМ И КИСТЬЮ

В этом номере журнала у нашего автора Исаака Вайншельбойма – своеобразный бенефис: он представлен эссе о забытом замечательном поэте Фруге и его портретом на обложке.

Влияние Одесской художественной школы и общение с известными жудожниками оказали большое влияние на творчество Вайншельбойма. Исследователи относят метод художника к южнорусскому, точнее, к одесскому, импрессионизму, наиболее яркими представителями которого были Дина Фрумина, Костантин Ломыкин, Геннадий Малышев. Вайншельбойм трепетно хранит работы этих и других художников Одесской школы.

В иммиграции художник осуществил давнюю мечту о создании цикла картин о трагедии еврейского народа во время Второй мировой войны. Картины цикла «Холокост» с успехом экспонировались на престижных выставках Нью-Йорка и в других городах Америки. Многофигурное полотно «Хуппа в гетто» была отвечена призом на большой выставке художников штата Нью-Йорк. Последние годы в творчестве художника ознаменованы созданием циклов «Поэты Серебряного века», «Времена года», «Солнце Одессы». В настоящее время художник работает над большим циклом «Еврейское местечко».

Тема Холокоста занимает значительное место и в литературном творчестве Вайншельбойма. Сборник рассказов, повестей, книги «Староконстантиновские новеллы», «Звонок из Вероны», повесть «Бегство из ада» содержат эпизоды Катастрофы, воспоминания о художниках и анализ их творчества, окопные воспоминания. Тогдашний президент Украины Кучма в письме автору высоко оценил художественные достоинства «Староконстантиновских новелл».

В периодической печати и в художественных журналах Америки и России Исаак опубликовал бльшое колличество очерков и рецензий о событиях культурной жизни русскоязычного Нью-Йорка.

В 2012 году Одесское землячество Нью-Йорка и Гильдия художников отметили его девяностолетие. Во время чествования юбиляра президент Брруклина Марти Маркович огласил указ об учреждении «Дня Исаака Вайншельбойма в Бруглине» в ознаменование его вклада в общественную и культурную жизнь.

Многогранное творчество Исаака Вайншельбойма пополнилось еще одним интересным соботием – он создал литературно-музыкальный спектакль «Побег из ада» по мотивам своей повести.

Хочется напомнить, что Исаак Вайншельбойм является ветераном войны. Молодой офицер Советской армии командовал пехотными подразделениями, был неоднократно ранен, награждѐн орденами Отечественной войны первой и второй степени и другими наградами.

Д.Г.

На обложке журнала – картина
Исаака Вайншельбойма «Поэт Семен Фруг»